

Библиотека советской фантастики

ВИКТОР КОЛУШАЕВ

СЛУЧИТСЯ ЖЕ С ЧЕЛОВЕКОМ

ТАКОЕ!..



Виктор Колупаев родился в 1936 году в городе Алдане Якутской АССР. Жил и учился в Красноярске. С 1954 года живет в городе Томске. Окончил Томский политехнический институт, радиотехнический факультет. Работает инженером в Сибирском физико-техническом институте.

Первый фантастический рассказ В. Колупаева «Билет в детство» был опубликован в журнале «Вокруг света» в 1969 году. Затем в журналах «Аврора» и «Вокруг света» появляются рассказы «Мама» [1970], «Зачем жил человек!» [1970] и др. В журнале «Советская литература» публикуется на японском языке рассказ «Билет в детство». Печатаются его рассказы и в сборниках «Фантастика-69—70», «Фантастика-71».

«Случится же с человеком такое!..» — первая книга молодого томского писателя-фантаста.

Библиотека советской фантастики

ВИКТОР КОЛУШАЕВ

**СЛУЧИТСЯ ЖЕ С ЧЕЛОВЕКОМ
ТАКОЕ!..**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1972**

P2
K61

7-3-2

201-72

Одухотворенные люди

(Предисловие)

Я убежден: перевернув последнюю страницу этой книги, вы испытаете удивительное пробуждение дремлющих в вас чувств. И пробуждение это будет таким же пронзительным, бескомпромиссным и светлым, как бескомпромиссна и светла подлинная доброта.

Каждому, кто прикоснется к фантастическому миру Виктора Колупаева, жить станет чуть труднее и чуть радостнее. Но это «чуть» может подчас перевернуть всю жизнь. И да будет так с теми, кому не хватало этого маленького толчка в минуту выбора.

Если быть точным, Виктор Колупаев не фантаст, он сказочник. Потому что в отличие от многих фантастов его мечта всегда и в первую очередь поэтична. И еще потому, что его фантастика — это трепетное удивление реальной жизнью и человеком. Той самой жизнью, которой мы живем изо дня в день и которой привыкаем не удивляться. Сначала не удивляться, а потом... А потом обходиться без того, без чего обойтись, в сущности, нельзя, — пристрастного поиска ответа на вопросы: в чем счастье? Что такое счастье? Как быть счастливым?

Вот уж поистине: привычка выше нам дана, замена счастью она! Но ведь замены-то быть не может. Не может быть замены, если вы хотите когда-то, когда никто и не расслышит слетевших с ваших губ слов, сказать себе: «Я прожил настоящую жизнь».

Виктор Колупаев рассказывает именно об этом — о настоящей жизни, такой, какая может и должна быть уже сегодня и у каждого человека. Понимаете? Уже сегодня и у каждого человека!

Наверное, поэтому вы не встретите в его рассказах прекрасных, но, увы, недостижимых в своем сверкающем совершенстве сказочных героев. Зато в них живут, думают, мечтают и ищут люди, с которыми вам непременно захочется потолковать. Такие же люди, как вы да я и многие наши знакомые.

Такие же и не совсем такие. Потому что видим мы их в те лучшие мгновения жизни, когда отброшено все мелкое, ничтожное, недостойное и в человеке раскрывается подлинное его богатство: бескорыстие, мужество, ум, доброта.

Виктор Колупаев умеет раздвинуть эти мгновения истины, вместить в них целую жизнь, от чего она, словно по волшебству, приобретает тот смысл, по которому томятся искатели счастья.

Да, все мы в принципе люди достойные и хорошие. Но всегда ли? Изо дня в день, в большом и малом — всегда ли мы до конца верны тому, что в нас есть? А между тем именно такая верность вопреки «здравому смыслу», в противоречие «трезвому расчету» в конечном итоге объединяет знаком равенства жизнь и подвиг.

Почему герой рассказа «Газетный киоск» стремится туда, где ему совсем необязательно быть и где его ждет гибель? Почему герой другого рассказа — «Зачем жил человек?», — обреченный на безвестность, продолжает вдохновенно творить? Почему? Да потому, что, как любят писать в подобных случаях газеты, каждый из них «просто не мог поступить иначе».

Ох уж эта потеряя, заведомо обреченная не быть услышанной сентенция! К счастью, в рассказах В. Колупаева вы не встретите ее. Но (вот чудеса!) вы вспомните ее сами, вы сами произнесете ее для себя как собственный вывод из прочитанного и, быть может, впервые, постигнете огромную моральную цену этих обесцененных расточительным употреблением слов. Ибо вам станет яснее ясного, что, конечно же, существуют десятки вариантов того, как поступить по-инному, тысячи возможностей отступить, уступить, но... Но в чем же все-таки счастье? Что такое счастье? Как быть счастливым?

Виктор Колупаев создает бесчисленные вариации на тему прекрасного в жизни и человеке, доказывая ее многогранность, опровергая живучее мнение о положительном герое как о чем-то однозначном, а потому неинтересном для писательского исследования и убеждая, убеждая настойчиво, с выдумкой, я бы сказал, с какой-то одержимой яростью и вместе с тем деликатной, мягкой влюбленностью в то, что счастье человеческое — в верности идеалу, в мужестве честных решений, в постоянной неуспокоенности, в неутолимой жажде «коснуться неба».

«Случится же с человеком такое!..» Не правда ли, какое домашнему доброе название повести, будто оброненное в разговоре аккуратных старушек, что сумерничают на лавочках летними вечерами. А повесть о том, как в спокойную, размеренную, благополучную жизнь заурядного человека ворвалось счастье и словно вихрь закрутило, всколыхнуло угасшие было чувства, заполнило до краев

пустовавшую лень будней, обрушило страдание, отчаяние, боль и... пробудило талант. Настоящий талант, которого, казалось, никогда и не было, о котором никто и не подозревал.

Я сразу же хочу предостеречь вас от поверхностного прочтения этой повести, поскольку на поверхности — история несчастной любви. Но попробуйте обратиться к чувствам, которые она вам сообщает, попробуйте прислушаться к ответному движению своей души, и вы обнаружите не сострадание к герою, а зависть к его судьбе.

В чем загадка этого ощущения? В нас самих, наверное. И еще — в умении автора противопоставить мещанскому представлению о счастье открытую всем ветрам и бурям жизнь, которая не позволяет быть трусом, в которой нельзя быть равнодушным и черствым, нельзя изменить своим убеждениям и идеалам.

Не бегите от такой жизни! Трудная, ответственная, беспокойная, она словно искру высекает из человека то прекрасное, единственное и неповторимое, что называют талантом.

В фантастическом рассказе-притче «Зачем жил человек?», построенном на контрасте двух противоборствующих, взаимно исключаящих личностей и судеб, В. Колупаев наиболее открыто говорит, какой выбор предпочитает он сам. Однако, словно боясь быть навязчивым, словно опасаясь, что за явной привлекательностью самоотверженной жизни кое-кто может не разглядеть, какого мужества она требует, ставит своего героя в исключительно трудные условия: знайте цену подвигу. Она высока. Очень.

Как мало все это похоже на фантастику, в которой мы привыкли видеть более или менее удачные попытки представить будущее, в которой превыше всего ценим дар пророчества! И как удивительно превращение былей в сказку, которая оказывается тем прекраснее, чем глубже удастся автору раскрыть мир современника, его представление о смысле жизни, его идеалы, его борьбу.

При этом Виктор Колупаев вовсе не отказывается от решений, искони присущих фантастической литературе. Более того, здесь он традиционен, чтобы не сказать — старомоден, и всевозможные машины времени, межгалактические перелеты, встречи с инопланетянами часто присутствуют в его сюжетах. Но все эти элементы фантастики служат лишь своеобразным катализатором, помогающим с наибольшей полнотой выявить замысел автора, его интерес к моральным, нравственным, этическим проблемам жизни. Вот почему собственно фантастика В. Колупаева приобретает в вашем сознании ту степень само собой разумеющейся реальности, вне которой невозможно и представить реальных с головы до ног героев повествования, оценить их отношения и поступки.

Фантастический сюжет рассказа «Вдохновение» исчерпывается довольно широко использованным в фантастике приемом, когда в произведении художника каждый видит фрагмент собственной жизни, тот «пик» собственной жизни, в котором наиболее полно отразилась сущность данного человека.

Можно спорить о правомерности такого допущения, можно спорить об этом, если видеть в эксплуатации фантастического приема цель рассказа. Но что стоят эти споры перед эмоциональным воздействием истории о мальчишках военных лет, в каторжном напряжении недетского труда постигающих и постигших его великий гражданский, патриотический, человеческий смысл.

Выбрать правдивую ситуацию, раскрыть характеры людей, действующих за гранью человеческих возможностей и умеющих не просто одолеть в борьбе, но и обрести необоримую силу вдохновения, — это уже не чье-нибудь. Это колупаевское. Равно как и живая, подчас грустная, подчас озорная, романтически возвышенная или реалистически строгая манера письма, доставляющая удовольствие соприкосновения с образным и чистым языком.

Все это делает фантастику В. Колупаева настолько достоверной, что вы сами обретаеете вдруг ту непосредственность, тот счастливый дар доверчивости, ту неосознанную смелость мышления, которые живут в нашем детстве и досадно утрачиваются с годами.

А может, и не утрачиваются? Может, в каждом человеке всю долгую жизнь его, лишь затаившись, живет детство? И ждет, ждет своего часа, чтобы удивить поэзией, чистотой мечты?

Я не знаю, что скажете на сей счет вы, но мне кажется, стоит вступить в «Поющий лес» Виктора Колупаева и, слившись с героем рассказа, вернуть приумолкнувшему миру все его песни, стоит встретиться с чудесным стариком из рассказа «Настройщик роялей», с ребятишками, что от имени человечества дали кров и приют пришельцам из космоса («На асфальте города»), с юной парой, украсившей новогоднюю елку звездой из далекой галактики («Жемчужина»), с космонавтом, чья любовь к родной Земле заставила ожить мертвую планету («Весна света») ... Так вот, стоит встретиться с ними — бескорыстными, романтичными, мужественными, добрыми, — чтобы почувствовать: жизнь прекрасна!

Я не стану повторять содержание произведений, собранных в первой книге Виктора Колупаева, для подтверждения сказанного. Вы их прочтете сами и сами решите, по пути ли вам с автором. И наверное, откроете многое такое, чем не удалось обогатиться мне.

А. Нодия



Поющий лес

«Громовержец» — старый грузовой корабль, похожий на приплюснутую консервную банку, — вторую неделю шел с такой непостижимой для него скоростью, что уже на сутки опережал график выхода из гиперпространства в окрестностях Земли.

Игорь — капитан корабля и единственный член экипажа — немало потрудился, чтобы «Громовержец» с такой скоростью поглощал парсеки, и теперь, сидя в своем командирском кресле, ласково поглаживал панель пульта управления, вслушиваясь в многоголосую симфонию

корабельных двигателей. Настроение у капитана было превосходное, и лишь одна мысль несколько удручала его. Он знал наверняка, что этот лишний день зря пропадет в блужданиях среди контор и складов земного космодрома.

Можно было, конечно, на несколько часов выйти в трехмерное пространство в окрестностях какой-нибудь планеты, побродить по непохожему на земной лесу, подышать странно пахнущим воздухом или, надев скафандр высшей защиты, взять бластер и поохотиться на диковинных чудовищ. Правилами такие остановки не запрещались, был бы выдержан график.

Игорь достал из ящичка пульта управления звездный атлас и раскрыл его на нужной странице. Палец капитана медленно полз по гладкому толстому листу, останавливаясь на мгновение возле черных точек с надписями на галактическом языке. Тоббус, Цинта, Бугиламия, Гревтеч, Адерс... Игорь попытался припомнить какие-нибудь сведения об этих звездах и их планетах, но ничего не вспомнил и махнул рукой. Где уж ему было в предыдущих рейсах заниматься этим, когда старый грузовой корабль все время отставал от графика и прийти в порт назначения стоило многих бессонных ночей.

Капитан попробовал извлечь какую-нибудь информацию из названий, но скоро был вынужден признать, что это невозможно. Тогда он закрыл глаза и ткнул пальцем в атлас. Потом осторожно открыл глаза, оторвал палец от страницы и прочитал: Карамбуния.

Карамбуния так Карамбуния! Он ввел ее координаты в кибернетического пилота. Для выхода в трехмерное пространство оставалось только нажать кнопку, но Игорь поборол искушение сделать это немедленно и сначала прошел в грузовой отсек и проверил там крепе-

ния небольших коробочек с лепестками роз с планеты Цидия. Через несколько дней этими лепестками девчонки Земли будут украшать свои волосы.

Крепления были в образцовом состоянии. Игорь вернулся в командирский отсек, окинул приборы быстрым взглядом и нажал кнопку выхода в трехмерное пространство.

А через полчаса он уже подписывал анкету на космодроме города Асхи — столицы Карамбунни. Вскоре все формальности были закончены, и предупредительные карамбунийские киберы предложили Игорю шикарный экипаж для поездки в столицу, но он отказался и пошел неторопливым шагом к видневшимся невдалеке горам, покрытым густым зеленым лесом.

Игорь легко ступал по траве, вдыхая незнакомые ароматы, иногда останавливаясь, чтобы полежать в тени деревьев. Потом он вскочил на замшелый пенек, посмотрел в ту сторону, откуда пришел. Внизу, в долине, сквозь розоватую дымку колеблющегося воздуха и нежные, полупрозрачные верхушки кустарника еще можно было различить смутные очертания космопорта. Игорь прикинул в уме, сколько километров он уже отмахал. Пожалуй, километров пять. Но в ногах не чувствовалось никакой усталости. Он нисколько не жалел, что отказался от услуг предупредительных киберов и не воспользовался ни одним из видов транспорта, который бы за несколько минут доставил его в Асху.

До Асхи оставалось еще километров пять. Десять километров пешком в такой ясный солнечный день! По яркой, сочной траве! А этот лес, который стометровыми колоннами уходит в медленно поднимающуюся гору! Нет, он правильно сделал, что пошел пешком. На Карамбунни стоило завернуть хотя бы для того, чтобы увидеть этот гигантский, могучий и в то же время

странно нежный и задумчивый лес, послушать его прозрачную стеклянную тишину. Игорь уже заметил, что если долго вслушиваться в тишину леса, то в голове возникают мимолетные звуки незнакомой музыки. Даже лучи света тихонько позванивают. Но стоило хрустнуть ветке... Все пропало, снова тишина.

Игорь с шумом прыгнул с пенька, упал на спину, раскинул руки и рассмеялся. Просто так, без всякой видимой причины. И сразу стало тихо. Это было очень странно. Чем больше шумишь, тем глубже тишина. Игорь смотрел на облака, летящие над головой, не мигая, не шевелясь, затаив дыхание. И в лесу снова зазвенела странная незнакомая музыка. Игорю на мгновение показалось, что он знает эту мелодию. Да нет же! Откуда? И, сам того не замечая, Игорь запел. Запел одним голосом, без слов.

— Извините, — раздался совсем рядом бесстрастный голос.

Игорь вскочил. В нескольких шагах от него на четырех суставчатых металлических ножках, подняв голову вверх, стоял кибер.

— Извините, — повторил он, — это была новая песенка.

— Ну и что же? — недовольно спросил Игорь. Уж очень не вовремя появился этот кибер.

— Это была новая песенка, — снова повторил кибер, и в его голосе капитану «Громовержца» почудилось недоумение. Словно фраза, сказанная кибером, имела однозначный и всем известный смысл, а он, Игорь, почему-то его не понял. — Я выдам вам патент. Это была новая песенка.

— Мне не нужен патент, — сказал Игорь, чтобы только отделаться от назойливого собеседника. — Я не изобрел ее. Это пели деревья.

— Никто не поверит, что деревья могут петь. Это ваша песенка.

Кибер ткнул паучьей лапкой себя в грудь, и из нее на колесиках выкатился печатающий механизм. Кибер ловко застучал по клавишам металлическими пальцами и через несколько секунд протянул человеку узкую карточку с водяными знаками. В ней удостоверилось, что Игорь запатентовал песенку.

— Для чего это нужно? — спросил Игорь.

В лесу снова стояла мертвая тишина.

— Таков порядок, — бесстрастно ответил кибер.

— Чей порядок? Кто его ввел?

— Я не отвечаю на бессмысленные вопросы, — ответил кибер.

Игорю послышалась в его голосе издевка. Кибер не без изящества спрятал в своей груди печатающий механизм.

— Все равно. Песню нельзя запатентовать! Это бессмысленно, — убежденно произнес Игорь.

Кибер замер на несколько секунд, словно пытаясь что-то вспомнить. Коленки его медленно подрагивали. Левый глаз слегка косил.

— Извините. Это был новый афоризм. Вы получите патент, — и кибер, быстро выкатив из себя машинку, снова лихо застучал по клавишам. — Вот ваш патент.

— Это уже настолько бессмысленно, что становится интересным.

Раздалась барабанная дробь, и кибер молча протянул Игорю третью карточку с водяными знаками.

— Я снова сказал афоризм? — спросил Игорь, наконец ошеломленный.

— Да, — коротко ответил кибер, спрятал печатающий механизм и смешно, по-собачьи, зашевелил ушками.

— Пасик! — раздалось за деревьями.

Кибер несколько раз нетерпеливо подпрыгнул на месте и стремглав кинулся на голос.

— Пасик, куда ты пропал? — капризно сказал звонкий женский голос. — Ты нехороший, Пасик... Оставил меня одну.

Из-за деревьев показалась невысокая загорелая девушка в ярком красном платье и с пышной копной пепельных волос. Похожая на диковинный цветок, она неторопливо шла вниз по бугру босиком. Кибер, подпрыгивая в высоту метра на полтора, старался лизнуть ее в нос. Девушка рассерженно отмахивалась от него. Заметив незнакомого человека, она на мгновение остановилась, затем решительно подошла к нему и спросила:

— Конечно, беседовали?

— Да, — сказал кибер и понурил голову.

— Очень интересно побеседовали, — ответил Игорь, поглядывая на кибера слегка неприязненно.

— Пасик у меня очень любопытный. И везде любит совать свой нос. Впрочем, для этого они и созданы. — И без всякого перехода вдруг выпалила: — Здравствуйте! Меня зовут Арика. У меня четыре патента и два дополнительных.

— Очень приятно, — вежливо раскланялся капитан «Громовержца», пряча в карман карточки с водяными знаками и косо поглядывая на членистоногого кибера, сновавшего возле ног. — Игорь. Капитан одной консервной коробки... А у меня, кажется, три патента. Впрочем, вашему Пасику это лучше знать.

— Три патента?! — удивилась девушка. — О! Это порядочно.

Но в ее голосе, когда она говорила о своих четырех патентах и двух дополнительных, было столько гордости и превосходства, что Игорю стало стыдно за свои три, да еще полученные неизвестно за что.

— Свой второй дополнительный я получила три месяца назад за зеленую корову.

— За зеленую корову? — переспросил Игорь.

— Да. Это пришло мне в голову внезапно, как какое-то озарение. Мэр нашего города запатентовал картину «Корова на пяти ногах».

— На пяти ногах! — воскликнул капитан «Громовержца».

— Да. А я изменила цвет.

— У вас коровы имеют пять ног? — спросил Игорь.

— Какие еще пять ног? Конечно, четыре. Но на четырехногую корову патент ведь уже не получишь. Он очень умный, этот Жажога.

— Жажога?..

— Да. Это мэр нашего города. Разве вы не знаете?

— Нет. А для чего он нарисовал корову с пятью ногами?

— Ну как вы не поймете! Ведь патент выдается только в том случае, если есть существенная новизна. Вот он и нарисовал пятиногую.

— А на самом деле пятиногих коров нет?

— Откуда они могут взяться? Все коровы четырехногие.

— Угу... — пробормотал Игорь. — Теперь все понятно. Только вот зачем он нарисовал пятиногую?

— Я же вам говорила. Какой вы бестолковый! И за что только вам дали три патента?

— Я и сам не знаю.

— Чтобы получить патент, нужно что-нибудь изобрести. Понятно?

Игорь согласно кивнул головой.

— А изобретением признается отличающееся существенной новизной решение эстетической задачи в любой области искусства, дающее положительный эффект.

Игорь растерянно опустил на траву и, глядя снизу вверх, спросил:

— Только искусства?

Арика недоуменно пожала плечами:

— А где же еще можно что-нибудь изобрести?

— А наука, техника?

Арика присела рядом с Игорем и осторожно положила ему на лоб свою руку.

— Пасик, он, кажется, болен.

— Я здоров как бык! — попробовал отшутиться Игорь.

— Патент № 1278329. Выдан 243 года назад. Незаконное использование, — забубнил кибер. Игорь изловчился и поддел его носком ботинка. Пасик перевернулся, хромая, отбежал за ближайший куст и, ничуть не обидясь, продолжал, — ...карается по статье № 1 Кодекса Законов. Штраф в пользу владельца патента 211 буреней.

— Что за штраф? — возмутился Игорь. — Чем я незаконно воспользовался?

Арика с опаской посмотрела на Пасика:

— Но ведь ты же сказал: «Я здоров...» — и так далее.

— Я действительно здоров как бык, — сказал Игорь, разводя в недоумении руками. — Что же здесь незаконного?

— Штраф еще в 211 буреней, — отметил кибер. Игорь запустил в него попавшейся под руку палкой, но промахнулся.

— Эта фраза запатентована. Если у тебя нет на нее лицензии, ты не имеешь права ею пользоваться, — сказала Арика. Она была явно огорчена случившимся.

— Бред какой-то. У вас что, всегда так встречают новичков?

— Так ты из провинции? — в голосе Арики промелькнуло сочувствие.

— Да. Я — человек с Земли.

— Это на юго-западе?

Игорь печально кивнул головой:

— Да, почти рядом. В соседней спиральной галактике.

— Я так и знала, — сказала Арика и снова перешла на «вы». — Штраф вы можете уплатить непосредственно Пасику. Он все передаст кому нужно.

Игорь лег на траву, рассеянно покусывая стебелек какого-то цветка. Арика пододвинулась к нему поближе и погладила по голове.

— Какой ты смешной и нелепый! Не знаешь самых элементарных вещей.

Игорь перевернулся на спину и спросил:

— А для чего тебе самой патенты?

— Их же можно продать, — оживилась девушка.

— Это очень выгодно?

— Да. Только вот с моей зеленой коровой... — девушка замялась и всхлипнула. — Никто не берет.

— Неужели никто? — удивился Игорь.

— Никто. Ну и пусть! Зато теперь никто не имеет права рисовать зеленую корову.

— Это, наверное, большое утешение?

— Да! — сказала Арика с вызовом. — Представь себе, большое!

— А-а-а! — Игорь изо всех сил старался казаться понятливым. — И что же у вас запатентовано? Все искусство?

— Да. Музыка. Живопись. Поэзия. Юмор. Афоризмы. Танцы.

И вдруг снова без всякого перехода.

— Нет. Игорь, ты не из юго-западного района. Ты,

наверное, свалился с Нулы. Или, может быть, ты с Бугиламии? Ты не шпион?

— Ну, Арика, — засмеялся капитан «Громовержца», — ты поражаешь меня своей проницательностью. А что бы ты сделала, будь я действительно шпион с Бугиламии? Кстати, попроси своего Пасика удалиться куда-нибудь подальше. Он мне не нравится. Слишком назойлив. Все подслушивает, подсматривает, приняхивается. Пошел прочь!

Игорь сделал движение рукой. Пасик отскочил на безопасное расстояние и лениво почесал паучьей лапкой свое брюшко.

Арика подозрительно посмотрела на Игоря:

— Зачем ты его прогоняешь?

— А тебе он разве не мешает? Он и тебя оштрафует. Или ты знаешь все патенты наизусть?

— У каждого должен быть свой кибер. Так было всегда. Иначе вся система патентов не имела бы смысла. Каждый мог бы воспользоваться любым изобретением. Сказать, например, какую-нибудь шутку вслух, а потом отказаться. Попробуй докажи тогда, что он воспользовался чужим патентом. О, это были бы бесконечные судебные процессы. Хаос. Конец. Конец всего разумного. Конец мира. Вот киберы и помогают нам. У каждого есть кибер, который следит за соблюдением патентной дисциплины. Он и патенты выдает, и накладывает штраф за незаконное пользование чужим. Но почему ты меня об этом спрашиваешь? Каждый должен знать это.

— Я уже говорил тебе, что я не житель Карамбунии. Все это для меня так ново!

— Если ты не житель Карамбунии, значит ты с Бугиламии. — Арика испуганно закрыла себе рот рукой, чуть отодвинулась и оглянулась, желая убедиться, что

паукообразный Пасик поблизости. — Ты ведь знаешь, что киберы охраняют своих хозяев? У них есть электрические хлысты.

— Нет, не знаю, — сказал Игорь и, помолчав немного, спросил: — А разве, кроме Карамбунии и Бугиламии, в мире нет других обитаемых миров?

— Откуда же им взяться?

— Да, довод неотразимый. — Игорь снова лег на траву, а Арика своим приятным голоском затараторила что-то о своей бедной зеленой корове.

Лес молчал. Все в нем замерло. Ни малейшего движения, хотя по небу несутся облака. Значит, ветер все-таки есть?! Значит, движение все-таки есть! Тогда почему все вокруг замерло, затаилось? Потому что Арика не может закрыть рот? Тишина, потому что в лесу есть посторонний шум? А какая симфония звучала в лесу! Но ведь он пел вслух! И лес его не испугался, не затих. Станный лес.

— Арика, — вдруг спросил Игорь, — ты часто бываешь в Поющем Лесу?

— Разве лес может петь? — удивилась девушка. — Ты что-то путаешь, Игорь.

— Никто не поверит, что лес может петь, — ехидно заметил Пасик. — Я уже говорил ему.

Арика весело расхохоталась:

— Ты очень забавный парень, Игорь. И что же это за лес? Где он расположен? Неужели прямо на Карамбунии?

Теперь Игорь с удивлением посмотрел на девушку:

— Но ведь лес, в котором мы сейчас находимся, — Поющий Лес!

— Ошибаешься, — жестко сказала Арика и сразу стала серьезной. — Этот лес называется Всегда Молчащим Лесом. Здесь всегда тихо. Очень тихо.

— Это потому, что ты все время говоришь. Попробуй помолчать. И он запоет.

— Ошибаешься, — повторила Арика. — Он будет молчать. Сейчас ты убедишься в этом.

Арика села, поджав под себя босые ноги, и притихла. Несколько минут они оба не шевелились. В лесу было тихо. Так тихо, что становилось нехорошо на душе. Мрачная, ледяная тишина. Лес молчал. И Игорь, не выдержав, заговорил первым.

— Сейчас он действительно почему-то молчит. Но ведь он же пел! Я слышал музыку. Я даже сам запел вслух, и твой Пасик выдал мне патент. Пасик, это ведь правда?

— Никто не поверит, что лес может петь, — с достоинством ответил Пасик.

— Но я не успел запомнить мелодию. Твой паукокибер сразу же вручил мне вот этот патент, — Игорь достал из кармана продолговатый листок и протянул его девушке. — У меня есть патент, но у меня нет самой песни. Я ее забыл. Понимаешь, забыл! А Лес, наверное, обиделся. Поэтому и молчит. Не веришь?

Арика отрицательно покачала головой и сказала:

— Твоя песня должна быть записана в запоминающем устройстве Пасика.

— Тогда прикажи ему, чтобы он ее проиграл!

— Я этого не могу сделать. Ведь это твоя песня. Сделай сам.

— А он меня послушает?

— Конечно, если ты ему покажешь свой патент.

Игорь протянул лист с водяными знаками к самым глазам кибера. Тот, зашипев: «Вижу, вижу!», нажал кнопку на своей груди, и капитан «Громовержца» услышал мелодию, которую он пел здесь, в Поющем Лесу.

Арика вся подалась вперед. Удивление и восхищение было написано на ее лице. Мелодия была несложная, да и певец из Игоря был неважный. И все-таки девушку все это очень взволновало. А мелодия скоро кончилась.

— Ну как? — спросил Игорь. — Теперь ты веришь, что эту песню сочинил Лес?

— Ты изобрел чудесную песню, Игорь. Я ее буду иногда напевать про себя.

— Пой вслух, если она тебе нравится.

— Ты думаешь, что у меня тысячи буреней? Чем же я буду платить штрафы?

— Это все из-за того, что у меня на нее есть патент? Но я не возражаю. Пой.

— А Пасик на что? Он сейчас же наложит штраф в тысячу буреней.

— А ну-ка пошел отсюда, паук! — Игорь вскочил и пошарил в траве, ища какую-нибудь палку.

— Игорь, это бесполезно. — Арика потянула его за руку. — Сядь со мной. От Пасика никуда не денешься. Он все равно все будет знать. Он все видит и слышит.

— Так как же вы в таком случае поете? Покупаете лицензии на любимые песни?

— Конечно. Только это очень дорого. Последний раз я пела, когда мне было семнадцать лет. Это было в мой день рождения. Папа купил мне в подарок одноразовую лицензию одной очень грустной песенки. О! Как это было чудесно!.. А ты говоришь — Поющий Лес. Разве такое бывает?

— Было, — упорно повторил Игорь. — Было! А хочешь, я подарю тебе эту песню? А?

Арика сначала не поняла смысла слов, сказанных Игорем, а потом испуганно замахала на него руками.

— Что ты! Не делай этого!

— Пасик, сюда! — крикнул капитан «Громовержца».

Кибер подбежал поближе, но остановился на почтительном расстоянии. — Этот патент принадлежит Арике. Я дарю его ей. Понял?

Пасик осторожно взял лист, протянутый ему, разорвал на мелкие части, ткнул себя пальцем в грудь и застучал по клавишам машинки.

— Игорь, не делай этого! Я уже не смогу отдать тебе патент. Ведь дарить можно всего лишь один раз!

— Глупая! Я дарю его тебе навсегда! Что в этом особенного?

— У тебя, наверное, очень много буреней?

— У меня нет ни одного буреня.

— Тогда зачем ты подарил патент? Надо было отдать вместо штрафа. Может быть, ты и этого не знал?

— Не знал. Но если бы и знал, ничего бы не изменилось. Подарил, и все. У меня есть еще два патента. Этого будет достаточно, чтобы рассчитаться?

— Да. Но тогда у тебя ничего не останется. Без патентов и буреней! Что ты будешь делать? У меня есть деньги, я внесу их за тебя. Хорошо?

— Плохо. Плевал я на патенты. Пасик, лови! Ну теперь я тебе ничего не должен?

— Задолженность погашена, — мрачно ответил Пасик.

— Ну и прекрасно. А теперь, Арика, спой свою песенку. Я ее тоже с удовольствием послушаю.

— Я так давно не пела. Не знаю, получится ли?

— Получится!

По небу, догоняя друг друга, плыли облака. Их становилось все больше. Ветер изменил направление. Воздух трепетал в ветвях безмолвных неподвижных деревьев. А деревья по-прежнему молчали. Арика опустилась на колени и запела, подняв вверх руки. У нее был красивый и сильный голос.

Голос рвался в вышину, к облакам, мягко расстился по траве, шевелил листья деревьев. Голос девушки расшевелил Молчащий Лес. Игорь удивленно осмотрелся. Лес пел. Нет, он не пел, он аккомпанировал голосу сотнями скрипок, арф, флейт, виолончелей. Мягкая дробь барабанов и гулкие глубокие звуки контрабасов. Игорь встал и повернулся на месте. Весь Лес! Весь Лес исполнял эту необыкновенную песню. Это уже была не просто песня. Это был концерт для голоса с оркестром. Даже Пасик замер и, кажется, внимательно слушал. Игорь закрыл глаза и медленно закружился, чувствуя, как всю его душу наполняет странная радость и грусть. И в это время голос, плавно замирая, стих.

Затих и Лес.

Пасик украдкой вытер глаза платочком и тотчас же спрятал его в нишу на правом боку. Арика прижала руки к груди и прошептала:

— О-о! Как это было чудесно!

— Да. Это было чудесно. У тебя такой сильный и красивый голос. И ты поешь только раз в несколько лет?

— Я пела раза два или три.

— Ну а теперь ты слышала, как вместе с тобою пел Лес? Даже Пасик расчувствовался, хотя, как я предполагаю, ни за что в жизни в этом не признается.

— Игорь, зачем ты меня разыгрываешь? Я не слышала, как пел Лес. Я даже свой голос слышала как будто во сне. Откуда-то издалека. Это было так странно.

— Конечно, ты могла и не заметить. Но ведь я-то слышал. Слышал! Прошу тебя, спой еще раз и прислушайся к Лесу.

Арику не надо было просить дважды. Кажалось, она была готова петь с утра до вечера.

И снова Игорь отчетливо, всем своим существом ощутил, как пели, дополняя друг друга, Лес и девушка, как

Лес сопровождал голосу и как старался он побороть легкую грусть Арики, наполнить ее душу ощущением счастья и красоты.

Кибер отбежал за ближайший куст и там потихонечку вытер нос. Он опять расчувствовался.

А Арика снова ничего не слышала.

— Ты слишком увлекаешься, — глотая комок в горле, сказал Игорь. — Это, конечно, очень хорошо. Но так ты действительно ничего не услышишь. Давай проведем эксперимент. Ложись на спину и смотри в небо. А ты, Пасик, перестань хлюпать носом и замри... Тише. Сейчас, если не шуметь, будет музыка. Сейчас она начнется.

Хрустальная тишина Леса заколыхалась, пришла в движение, зазвенела тоненькими тростиночками, колокольчиками, камышинками. Волнами зашевелилась, запела густая трава, затрепетали в медленном танце листья. Как все необыкновенно! Красиво, ласково и стройно пели листья Леса. Но вот по траве пробежали первые смутные, неясные признаки тревоги. Нет, показалось. Все спокойно. Лежать и слушать. Вот в чем счастье. Слушать эту совершенную красоту.

Лес пел о человеке. О человеке, который увидел в облаках, плывущих в бездонном голубом небе, лицо любимой. Оно все время меняется. Смеется и радуется, грустит и плачет. Оно все время разное и одно и то же. Оно одно, потому что любимое, и разное, потому что живое. Лес пел о человеке, который увидел в стройном деревце обнаженное тело своей любимой и обнял его. И о том, как в стремительном полете птицы человек узнал свою мечту. О звездах, об этих маленьких светлячках на черном покрывале Ничто. О человеке, который покори́л это великое Ничто. Это великое Все.

И вдруг песня оборвалась. Сотни труб и кларнетов застонали одновременно и неожиданно. Деревья зама-

хали руками, сопротивляясь свирепому ветру, ворвавшемуся в их стройный, красиво звучащий мир. А флейты ветра рвались вперед, срывая с деревьев одежды. Ведь деревья стояли на их пути. Лес сопротивлялся. Трубы, флейты, кларнеты разорвали небо на сотни кусков, и небо упало вниз. Ударил огромный барабан. И вот уже ничего не слышно, кроме сплошного грохота...

Арика трясла Игоря за плечо:

— Ты снова пел. Это было еще лучше!

Игорь вскочил. Гремел гром где-то высоко над лесом. Крупные капли дождя барабанили по лицу, рукам, голым ногам девушки, по траве и листьям.

— Ты изобретаешь песни на ходу. Пасик уже выбивает тебе очередной патент. Так, чего доброго, ты скоро станешь мэром Асхи.

— Значит, ты опять ничего не слышала?

— Ты пел. Я слышала.

— А Лес? Ведь это он пел!

— Нет, Игорь, этого я не слышала. И никто никогда этого не слышал. Этот Лес всегда молчит. Бежим!

— Куда? — Игорь с грустью посмотрел на Арику.

— В город. Из Леса. Ведь дождь.

— Действительно. — Игорь рассмеялся, рывком стянул с себя водоотталкивающую рубашку и накинул на плечи девушки. Та сделала движение, как бы сбрасывая ее с себя.

— Я ведь все равно уже промокла.

— Промокла до нитки, — улыбнулся Игорь.

— Игорь! — закричала девушка. — Этого нельзя говорить. Что ты наделал!

Капитан «Громовержца» посмотрел на нее с удивлением, в это время Пасик объявил об очередном нарушении Закона о патентах. Игорь отмахнулся:

— Ерунда! У меня есть чем рассчитаться.

— Как это нелепо! Такую музыку отдать за такую глупую оплошность. Я заплачу за тебя. Хорошо?

— Нет. Плохо. Ты же меня совсем не знаешь.

— Ты меня тоже.

— Послушай, а твоя зеленая корова? Я не хочу быть должным киберу. Я дарю тебе музыку, а ты мне свою зеленую корову. Идет?

Через минуту дело было улажено, и зеленая корова перешла в собственность какого-то неизвестного счастлильца.

Арика снова повеселела и, держа Игоря за руку, бежала по Лесу, разбрызгивая капли воды и не разбирая дороги. На опушке Леса она, запыхавшись, остановилась и схватилась правой рукой за грудь, тяжело дыша.

— Зря бежали. В Лесу было так хорошо.

— Зря, — согласился Игорь.

По его загорелому торсу стекала ручейками вода. Волосы намокли и слиплись на лбу.

— Ты такой добрый. Почему? — лукаво спросила Арика.

— С чего ты взяла, что я добрый?

— Но ведь ты подарил мне две песни. Незнакомой девушке.

— Я могу подарить их столько, сколько мне придет в голову. Просто у нас любую песню может петь каждый.

— Ты рассказываешь сказки. Я все равно в это не поверю. Не хитри. Я знаю, в чем дело. Ты в меня немного влюблен. Правда ведь?

Игорь рассмеялся.

— Я влюблен во всех красивых девушек. И всем готов дарить песни.

— Значит, ты считаешь, что я красивая?

— Да. Ты ведь это и сама знаешь.

— Знаю, — тихо сказала Арика и смешно сморщила нос.

Дождь все еще лил как из ведра. Игорь и Арика сбежали вниз по косогору по мокрой скользкой траве. Пасик с понурым видом трусил за ними. Девушка несколько раз чуть не упала, но Игорь вовремя подхватывал ее и удерживал. И все-таки в самом низу, почти у самой дороги, они оба упали. Перемазанные грязью и мокрые, они сели у обочины дороги. Пасик, явно недовольный остановкой, нетерпеливо бегал вокруг них. Широкое полотно шоссе было пустынно.

— У нас скоро будет праздник Лета, — сказала Арика. — Мы уже купили лицензии на несколько шуток и острот. А теперь у меня есть две такие песни! Ах, если бы мне удалось продать свои патенты! Какой бы был праздник!

— Я постараюсь тебе помочь, — ответил Игорь.

Он вдруг задумался. Почему Арика не слышит Поющего Леса? Ведь не глухая же она! У нее такой музыкальный слух и голос, что, слушая ее, можно забыть все на свете. Тогда почему она не слышит Поющего Леса?

— Я помогу тебе, — машинально проговорил он.

— Что ты! Ты и так сделал для меня очень много. Я буду петь твои песни целый день. Такое не у всех бывает на праздниках.

— Праздник без песен. Как вы могли дойти до этого?

— Но ведь так было всегда. А у вас разве не выдаются патенты на изобретения?

— Выдаются.

— Ну вот видишь, — Арика торжествующе посмотрела на него. — Везде так!

— Правда, у нас выдаются патенты только в науке и технике.

— Что ты говоришь? — Арика с изумлением посмотрела на него. — Как мне вас жаль! Как вы могли дойти до этого? — Она посмотрела ему прямо в глаза. — Игорь, скажи, что ты пошутил.

— Я сказал правду.

— Но для чего? Для чего?

— Чтобы был стимул для развития науки и техники.

— Невероятно. А разве без этого развитие науки и техники у вас остановилось бы?

— Если не будет стимула, кто же захочет что-нибудь изобретать?

— А разве вы не можете изобретать просто так, потому что это интересно, приятно, потому что не изобретать нельзя?

Арика смотрела на него. Струйки воды катились по лбу, носу, щекам, становились мутными и стекали по подбородку.

— Игорь, скажи мне правду. Откуда ты появился здесь?

— Я тебе говорил. С Земли.

— Это там? — Арика подняла палец вверх.

Капитан «Громовержца» кивнул головой.

Гроза прошла. Последние крупные тяжелые капли летнего дождя. Над Поющим Лесом небо освободилось от туч. Блестящая коричневая лента пластикового шоссе кое-где еще вспыхивала, вспучивалась небольшими водяными пузырями. За шоссе начиналось поле, покрытое высокой густой травой и усыпанное цветами. Цветы тихонечко вызванивали какую-то незамысловатую мелодию. Вдали, у горизонта, виднелись остроконечные пирамиды зданий. Это и была Асха, столица Карамбунии.

— Пошли, — Арика вскочила и потянула Игоря за руку. — И возьми свою рубашку.

— В таком виде?

— Здесь недалеко есть озеро.

Игорь встал, и они вышли на шоссе. Метров через двести Арика свернула в сторону, и Игорь увидел озеро. Они разделись, развесили на кустах свою мокрую одежду и бросились в прохладную воду, а потом упали на траву, блаженно подставив солнцу свои загорелые спины.

— А теперь расскажи мне о Земле, — попросила Арика.

— На моей родине каждый может говорить, что захочет, петь, что ему нравится, рисовать все, что ему вздумается, танцевать, играть в театре и смеяться. — И Игорь рассказал ей о Земле.

Арика слушала все это с волнением и недоверием. Она сидела перед ним на коленях, то машинально откидывая волосы со лба, то срывая травинки, то прижимая маленькие кулачки к груди и покусывая губы.

— Это сказка? — простодушно спросила она, когда Игорь кончил рассказывать.

— Это правда.

— Я не могу в это поверить. Даже представить себе это не могу.

Пасик сидел с отвисшей челюстью, недоверчиво поглядывая на капитана «Громовержца».

— Послушай, Арика, — сказал Игорь. — А разве вы не можете сочинять музыку и писать картины просто так, потому что это интересно, приятно, потому что не сочинять нельзя? Я сказал почти твоими словами.

— Ах, Игорь, но ведь существует же система патентов. И если я сразу же не возьму патент, то это сделает кто-нибудь другой. А какая мне от этого польза?

— Ты можешь умереть с голоду, если у тебя не будет патентов и буреней?

— Нет, Игорь. И пища, и одежда, и квартиры у нас

бесплатные. Деньги нужны только, чтобы купить песенку, смешную фразу, движение в танце.

— Прекрасно. Значит оттого, что ты не возьмешь патент, пользы тебе мало. Но ведь и сейчас ты не можешь ни петь, ни рисовать, ни говорить смешные остроты. Да и что значат твои шесть патентов по сравнению с миллиардами уже имеющихся? Как это у вас началось?

— Наверное, когда-то, давным-давно, никто не хотел сочинять музыку, рисовать, смеяться, и вот, чтобы стимулировать искусство, ввели эту систему.

— Ага! Ты уже не говоришь, что это было всегда.

— Я не знаю, — сказала Арика растерянно.

— А если было не так? Если кому-то просто захотелось все прибрать к своим рукам? Ведь вы совсем не поете. Вас или обманывают, или вы сами бессознательно делаете это.

Арика молчала.

— Мне обидно за вас, за то, что вы никогда не слышали музыку Поющего Леса, годами не слышите шуток, рисуете уродливых зеленых коров с пятью ногами, боитесь произнести лишний раз слово и платите штрафы металлическим паукам, которых сами когда-то и изобрели. Мне жаль тебя, Арика.

— Не жалей, — сказала девушка тихим голосом. Что-то в ней изменилось, сломалось. В ней уже не чувствовалось уверенности и гордости за себя. — Не жалей, Игорь. Все всегда было так.

— Ложь это! — вскричал Игорь. — Все всегда было по-разному! Прости, я сорвался, — он дотронулся до ее плеча пальцами. Она вздрогнула и сказала:

— Уходи к своим... уходи.

— Я скоро уйду.

Она оттолкнула его, скривилась в комочек и заплакала совсем по-детски, всхлипывая и размазывая слезы ла-

донью. Потом повернулась к нему, опершись на вздрагивающую руку, и крикнула срывающимся голосом, в котором совсем не чувствовалось убежденности, а были только жалость к себе и страстное желание, чтобы ее разубедили:

— Не верю, не верю! И Лес не может быть Поющим! Лес всегда молчит!

Пасик открыл было рот, но не сказал своего обычного: «Никто не поверит, что Лес может петь».

— Ты злой, Игорь, — совсем тихо сказала Арика. — Ты хороший, но злой. Ты рассказываешь сказки, слушая которые человек делается счастливым. А потом сказка кончается, человек оглядывается, и ему совсем не хочется жить. Потому что вокруг все по-другому, все страшно, все вечно. А хуже всего твоя сказка про Поющий Лес. Бог с ней, с Землей. Она далеко. И я никогда не узнаю, так ли на ней, как ты рассказывал. Но ведь Лес-то рядом. И я знаю, что он всегда молчит. Всегда молчит, молчит, молчит. Это жестоко. Я геперь никогда не войду в Лес. Мне не вынести этого... Спасибо тебе за песни.

Она медленно встала, стройная, смуглая и изящная, осторожно сняла с куста свое яркое красное платье, надела его и резко тряхнула копной пепельных волос.

Игорь сидел, обхватив колени руками, положив на них подбородок, и улыбался. Весело улыбался!

Арика взглянула на него, заметила улыбку, закусила губу и гордо произнесла:

— Прощай, Игорь. Пасик, пошли домой.

Но Пасик вдруг виновато опустил голову к земле, пригибая передние лапки, и нерешительно замялся на месте.

— Прощай! — еще раз сказала Арика.

— Ты не уйдешь, — ответил ей Игорь.

Арика заложила руки за затылок и медленно, но решительно пошла к шоссе.

— Ты не уйдешь! — крикнул Игорь. — Я знаю, почему ты не слышишь Поющего Леса. Арика, я знаю! Ты услышишь его!

Девушка остановилась в нерешительности. Отчаяние и надежда были написаны на ее лице.

Игорь вскочил на ноги, путаясь в рукавах, натянул на себя рубашку, смешно запрыгал на одной ноге, не попадая другой в брюки.

— Пошли! — крикнул он, но девушка не сдвинулась с места. — Пошли! — Он схватил ее за руку чуть выше запястья.

Они снова бросились в Лес. Спотыкаясь и чуть не падая, взобрались на косогор. За ними семенил возбужденный Пасик.

Они прибежали к тому месту, где встретились. Арика тяжело дышала. Она вся была в напряженном ожидании чуда. Он обещал ей, что она услышит Поющий Лес. Еще никто из карамбунийцев не слышал его, а она услышит, сейчас услышит. Можно было представить, что бы с ней произошло, обмани ее Игорь.

— Арика, ты веришь, что Лес может петь? — спросил Игорь немного торжественно.

— Верю.

— И ты очень хочешь услышать его?

— Очень.

— Тогда подари свои патенты.

— Кому? — испуганно спросила Арика. Потом она неуверенно взглянула на него исподлобья. — Тебе? Да?

— Нет. Просто подари. Всем карамбунийцам. Каждому! Сообщи об этом Пасику. Он знает свое дело.

— Как! И твои песни?

— И их тоже.

— Игорь, я сделаю все, как ты говоришь.

— Страшно? Страшно расставаться с ними?

— Страшно, но я верю тебе.

— Помнишь, я все говорил тебе, что Лес поет, но ты не слышала его. А я слышал, когда был один. Потом твой Пасик выдал мне три патента. И тут, захотев еще раз услышать Лес, я не услышал ничего. Мы сидели тихо, тихо, а он все молчал. Потом я избавился от своих патентов и снова услышал Лес, а ты — по-прежнему нет. Ты понимаешь?

— Я понимаю, Игорь. Пасик, я дарю тебе патенты. Я избавляюсь от них. Пасик, у меня нет больше патентов?

— Арика, у вас нет патентов... и почти нет буреней.

— А теперь слушайте, — сказал Игорь.

И они услышали.

Медленно и напевно зажурчал ручеек мелодии, ласково обнимая верхушки деревьев, шевеля и снимая с них остатки сладостной дремы. Проснитесь! Посмотрите, как прекрасно вокруг! Как прекрасен мир! Сколько в нем чудес! Пусть исчезнут расплывчатые хлопья низко несущихся туч, издав чуть слышный печальный стон. Вы слышите, как заплакала скрипка резко разогнувшейся ветки, и миллионы звенящих звуков-брызг маленькими солнцами упали на мягкую мокрую траву.

Арика пела.

Ее голос просил. Нет! Он требовал! Оглянитесь! Разве вы не замечаете, как в зачарованном хороводе кружатся деревья, аккомпанируя себе на гитарах, как они незаметными движениями поправляют свои нарядные платья. Как гордо горят их глаза. Ведь они красивы и знают это.

Голос Арики уносился в небо. Какая сила была в нем! И уже нельзя понять, кто был первым. Этот ли Пою-

ший Лес разбудил песню в душе девушки, стоящей на коленях. Или она вдохнула жизнь в этот Молчащий Лес.

Еще несколько аккордов, и Лес смолк. Арика, сияющая от счастья, обернулась к Игорю:

— Теперь я все слышала. Он пел!

Пасик выкатил из себя печатающий механизм и выжидающе посмотрел на свою хозяйку.

— Не надо, Пасик. Подари ее людям.

— Почему же ты, Пасик, теперь не говоришь, что Лес не может петь? — спросил Игорь с иронией, но без ехидства.

— Ты был прав, — сконфуженно ответил кибер, — когда говорил, что Лес может петь. Я знаю это давно. Все киберы это знают. На Карамбунии поет каждый куст, не то что дерево.

— Зачем же ты возражал?

— Никто из карамбунийцев этого не знает. Мне бы не поверили.

— А теперь поверят?

— Наверное, нет.

— Теперь они поверят, — убежденно сказала Арика. — Какой теперь у нас будет праздник Лета! Ты останешься, Игорь? Это очень скоро. Через десять дней.

— Нет, Арика. Я улетаю.

— Но ты вернешься назад к празднику?

Капитан «Громовержца» потер лоб ладонью. Шесть дней до Земли. Один день разгрузки. И шесть обратно. Всего тринадцать. Нет, не успеть.

— Я успею, — сказал Игорь, и у него даже голова загудела, когда он вспомнил свою колымагу «Громовержца». — Я обязательно успею. До свиданья, Арика. Спой мне с Лесом на прощанье что-нибудь.

— До свиданья, Игорь! Я жду тебя!

Голос и Лес пели о Человеке.

О Человеке, который прошел мучительную, изнуряющую дорогу недоверия, жестокости, страданий и горя, но не разучился видеть прекрасное, не разучился его создавать.

Создавать, не прося взамен славы и признательности, любви и благодарности, потому что он просто не может не делать прекрасное. Это у него в крови. Это у него в сознании. В этом суть Человека.

Голос пел. Как прекрасен мир.

— Проводи меня немного, — сказал Игорь Пасику.

— Возьми меня с собой!

— Нет, ты останешься с ней.

— Мне будет трудно без тебя.

— Знаю. Но Арике будет еще труднее. Без меня и без тебя.

Платок Пасика был мокр от слез, и Игорь подарил ему свой.

Они шли тихо, стараясь не хрустнуть веткой, затаив дыхание, вслушиваясь в затихающие звуки Голоса и Поющего Леса.



Газетный киоск

1

В двадцати шагах от себя ничего нельзя было рассмотреть, такой стоял туман. Только электрические лампы да подслеповатые фары автомобилей тускло высвечивали размытыми желтыми пятнами. Полста градусов ниже нуля! Редкий скрип шагов да пронзительные гудки машин, и холод, холод... И в Усть-Манске, и в его пригородах, и на тысячи километров вокруг.

Я бежал из гостиницы в клуб электромеханического завода, где в двенадцать часов открывалась конферен-

ция. Меня никто не обгонял, потому что я бежал быстро, потому что я был в легких ботинках и осеннем пальто, потому что пар от дыхания мгновенно замерзал на моем лице, а нос совершенно онемел и хотелось сунуть его под мышку. И еще мне хотелось, чтобы мороз стал не таким злым, чтобы я смог посмотреть на свой Усть-Манск, побродить по его новым кварталам, зайти к кому-нибудь из старых друзей в гости, выпить стакан вина и пойти в городской парк, а потом, как когда-то давным-давно, покататься там с горок, потерять шапку и найти ее набитую снегом, и смеяться, и хохотать, и играть в снежки, и дурачиться. Мне хотелось всего... Потому что я десять лет не был в Усть-Манске, а до этого прожил в нем двадцать лет.

У меня в запасе было еще полтора часа. Я хотел прибежать первым и согреться. А потом стоять и смотреть, как замерзшие в ледышку люди вместе с клубами пара вваливаются в фойе, стучат ногами и растирают друг другу щеки.

— Никогда в этом киоске не купишь свежую газету, — раздраженно сказал кто-то закутанный с ног до головы и чуть не сбил меня с ног. — Извините.

Я отскочил в сторону и увидел перед собой газетный киоск из стекла и пластмассы в кружевах искрящегося инея. Он весь светился изнутри и был похож на сказку. Вот только как там сидит старушка, продающая газеты? Предположим, что внутри на десять градусов теплее. Все равно минус сорок. Бр-р! Как только она там сидит? Может быть, замерзла уже?

Я решил купить газету, чтобы не терять зря времени на некоторых докладах. На мой судорожный стук окошечко киоска тотчас же открылось.

— Бабуся! — крикнул я. — Пять сегодняшних газет. Одну местную.

— Я не бабуся. Я Катя-Катюша, — ответил мне девичий голос.

— Катя-Катюша? Отлично, Катя-Катюша! Так как же насчет газет, Катя-Катюша? — Слово «Катюша» губы выговаривали с трудом, но я нарочно несколько раз повторил его.

— У меня не бывает сегодняшних газет.

— Это я уже слышал. Но только зачем мне вчерашние? Я их уже читал.

— И вчерашних не бывает.

— Для чего же вы тут сидите?

— Я продаю только завтрашние газеты, — ответила девушка, и в окошке показалось ее лицо в теплой вязаной шапочке. — Господи! Да вы ведь щеки поморозили! Оттирать нужно! Вам далеко?

— До клуба электромеханического...

— Не успеете. — И чуть помедлив: — Заходите ко мне. Здесь тепло.

— А можно?

— Заходите. Чего уж...

Я дернул дверцу киоска, но, наверное, слабо, потому что она не открылась, и запрыгал, хлопая себя по щекам, локтям и коленям. А пальцы ног-то ведь уже ничего не чувствовали.

— Сильнее! — крикнула девушка.

Я дернул изо всех сил, протиснулся вместе с клубами мгновенно образовавшегося пара внутрь киоска — там и на одного-то человека места было мало — и остановился в нерешительности, изогнувшись как вопросительный знак.

— Садитесь, — девушка указала на кипу газет.

Я сел и сразу же придвинул ноги к двум электрическим батареям.

Внутри киоска было светло, тепло и сухо. И еще — очень чисто и уютно.

— Щеки почернеют, девушки любить не будут, — сказала она и засмеялась. — Оттирайте.

Я стянул зубами перчатки и попытался распрямить пальцы. Ничего не вышло.

— Плохо ваше дело, — сказала девушка, сняла варежки и теплыми ладонями осторожно прикоснулась к моим щекам. Я не возражал. Она спросила: — Вы приезжий или из тех пижонов, которые специально не носят зимнюю одежду, а потом годами лежат в больницах?

— Я приезжий, Катя-Катюша. Я бегу из гостиницы на конференцию... По распространению радиоволн.

— А-а... Я уже читала в газете. — Она еще несколько раз провела своими теплыми ладонями по моим щекам. — Теперь отойдут.

— Спасибо, Катя. Давайте знакомиться, — я протянул ей свою еще не совсем отогревшуюся пятерню. — Дмитрий Егоров.

Она тоже протянула свою руку и при этом почему-то так весело рассмеялась, что не выдержал и я.

— Так это, значит, вас раскритиковали на конференции?

До меня не сразу дошел смысл сказанных ею слов.

— А я еще думала, какую газету оставить. Но только везде одно и то же. Так, значит, вы и есть Дмитрий Егоров, беспочвенный фантазер?

— Катя, я не беспочвенный фантазер. Я, напротив, почвенный. Вы представляете, как проникают радиоволны в почву?

Она отрицательно покачала головой.

— Ну тогда скажу короче. Я ищу полезные ископаемые и воду с помощью проникающих в почву радио-

волн. Без буровых вышек и проб грунта. Но только никаких фантазий здесь нет. Интересно? — спросил я.

— Интересно, — ответила она. — Расскажите. Все равно ведь конференция начнется в двенадцать.

Я рассказал ей, как нынешним летом наша экспедиция работала в Васюганских болотах на севере Томской области, как нас ели мошка и комары, как барахлила аппаратура и ребята становились злыми и замкнутыми, а Гошка, наш руководитель, начинал орать песни. Ему предлагали заткнуться, катиться подальше, показывали кулаки, а он все пел, выплевывая из горла везде проникающий гнус, и называл нас «манной кашей». Но «манной кашей» нас не проймешь. А вот его песнопений никто выдержать не мог. Кто-нибудь, всхлипывая, начинал хохотать. А потом не выдерживали и остальные. И все хохотали, хватаясь за животы.

— Спеть еще? — говорил Гошка и добавлял: — То-то же, «манная каша».

Комары все так же ели нас, а аппаратура не работала, но в нас появлялась злость на самих себя, на свою беспомощность. И мы уже не хотели быть «манной кашей» и не вылезали из тайги, хотя нас отзывали три раза. Только наша аппаратура так и не заработала как следует. Это, в общем-то, мало кого удивило. Есть электро-, магнито-, радиационная и гравиразведка. Но мы-то хотели совсем другого. Мы хотели видеть сквозь землю, как через прозрачное стекло. Экспедиция провалилась.

— И все равно интересно, — закончил я. — И нужно...

Мне показалось, что в ее глазах промелькнула мгновенная зависть. Ведь в конечном итоге я что-то делал, к чему-то стремился, падал и вставал, и шел дальше. А она, наверное, какой год сидит в этом маленьком киоске, продает газеты и открытки, отсчитывает сдачу, видя только протянутые в окошечко человеческие руки, и да-

же не пытается что-нибудь изменить в своей судьбе. Я расправил плечи и предложил:

— Катя-Катюша, поедem с нами в экспедицию?!

— Поварихой? — вполне серьезно спросила она.

— Почему именно поварихой? — смутился я.

— А кем же еще?

— Ну, например...

— Хорошо, я согласна, — сказала она.

— Правда?

— Правда. Все равно вы меня не возьмете. Вы шутите. А притом продавать газеты тоже интересно.

— Куда уж интереснее, — с сарказмом, как мне самому казалось, сказал я. — Так и просидишь здесь всю жизнь.

Она не обиделась, сверкнула на меня своими большими глазами, в которых уже не было зависти, а были только смех и ирония.

— М-да, — сказал я.

Я уже окончательно согрелся, но уходить не хотелось. За все это время никто ни разу не стукнул в окошечко. Наверное, в такой мороз никому не хотелось покупать газеты.

Я украдкой рассмотрел Катю. Она была небольшого роста, с черными, выбивающимися из-под шапочки волосами. И глаза у нее были черные, а щеки немного припухлые, как будто она их слегка раздувала. На ногах у нее были кожаные сапожки на высоких каблукaх, а в углу, за стулом, я заметил валенки. Легонькое зимнее пальто с небольшим воротником было растегнуто до половины, и из-под него выбивался голубой пушистый шарф.

— И теперь вы снова ринулись в бой? — смеясь, спросила Катя. — Хотите доказать, что вы были правы?

— Хочу, — ответил я.

— Ничего у вас не выйдет. И снова вас назовут беспочвенным фантазером.

— Ах, Катя-Катюша, — сказал я огорченно. — Вы-то зачем это говорите? Ведь вы этого не можете знать наверняка. Еще неизвестно, кто...

Я не договорил, потому что она вдруг сунула мне в руки газету и сказала:

— Читайте.

Я мельком пробежал по первой странице. Ничего особенного. Все как и должно было быть. Лесные богатыри, доярки, почины, соревнования.

— На третьей странице, — подсказала Катя.

Я развернул газету и прочитал: «В Усть-Манске проходит всесоюзная конференция по распространению радиоволн».

Катя тихонько хихикнула в рукав. Наверное, на моем лице слишком явно было написано удивление. «24 декабря в 12 часов дня в Доме культуры электромеханического завода открылась всесоюзная...»

— Какое сегодня число? — хрипло спросил я, с ужасом думая, где я мог потерять целый день.

— Двадцать четвертое, — ответила Катя совершенно серьезно.

— Тогда почему об открытии говорится в прошедшем времени? Ведь она откроется только через час!

— Так ведь это завтрашняя газета.

Я перевернул лист. Газета «Красное знамя», 25 декабря.

— Ничего не понимаю... Какое же сегодня число?

— Двадцать четвертое. Какое же еще!

— Ну вот что, Катя. Вы меня простите. У меня что-то с головой. Переохладился, наверное.

— Вы не переохладились, и голова у вас в порядке.

Это завтрашняя газета! Я всегда продаю завтрашние. Только их плохо берут. Все требуют сегодняшних. А сегодняшних ко мне не завозят.

— Этого не может быть!

Но ведь статья-то была написана про нашу конференцию. И мой доклад был назван прожекторским.

— Странно, — сказал я. — Теперь я знаю, что со мной будет в ближайшие часы. А если я захочу все сделать не так, как здесь написано? Возьму и не пойду на конференцию?

— Ничего не выйдет, — сказала Катя. — У вас нет причин для этого. Ведь это не только ваш доклад?

— Да, действительно. — Я на мгновение представил себе взбешенную физиономию Гошки и вздрогнул. — Похоже, что ничего не изменишь. Разве что в мелких деталях, которые все равно в газете отсутствуют. Ловко это у вас получается, Катя. Продавать завтрашние газеты — это не то что сегодняшние. Это интересно.

— Значит, не возьмете в экспедицию? — спросила она насмешливо.

— Вот что, Катя, — сказал я, не отвечая на ее вопрос. — Когда вы закрываете киоск?

— В восемь.

— Я найду за вами в половине восьмого. Хорошо?

— Хорошо. Только что мы будем делать? На улицу вас надолго нельзя выпускать. Замерзнете.

— Что-нибудь придумаем. Я побежал, Катя-Катюша. Я хочу сделать все, чтобы меня называли беспочвенным фантазером. Я хочу этого!

— Счастливо, — кивнула она. — А я хочу вас ждать.

Я как вкопанный остановился в дверях, не зная, что и сказать. Опять она смеется надо мной!

— Бегите, бегите. Тепло все вышло. Я буду ждать!

Я выбежал в пятидесятиградусный мороз и, окутанный столбом пара, помчался вверх по проспекту — мимо университетского общежития, мимо фигуры Кирова, стоящего с поднятой рукой, мимо корпусов политехнического.

В просторном, но аляповатом фойе Дворца культуры с канделябрами, люстрами и кожаными диванами было уже полно народу. Я сдал свое чисто символическое пальто в гардероб, взбежал на второй этаж и оттуда с балкона уставился вниз, надеясь отыскать в толпе знакомое лицо.

Мне повезло, и через десять минут я уже разговаривал со своим бывшим однокурсником. И начались вопросы: где? когда? кем? женат? дети? сколько? диссертация? Семена Федорова? Как же, помню! Морóзина? У нас тут нынче все время морóзина.

Из знакомых я больше никого не встретил, а мой однокурсник вскоре оставил меня. Он был одним из организаторов конференции, и я понимал его.хлопотливое все-таки хозяйство эти конференции.

Ровно в двенадцать зазвенел звонок председателя. С вступительным словом выступил знаменитый академик. Потом объявили расписание работы секций и подсекций, комитетов и комиссий. Конференция начала свою работу.

Я не взял в Катинном киоске газету. Почему — сам не знаю. Наверное, растерялся, заторопился. И теперь приходилось слушать длинные обзорные доклады.

В перерыве все бросились в буфет пить пиво и жевать бутерброды.

А потом началась работа секций, и в нашей секции, к моему удивлению, оказалось человек сорок. А я-то ду-

мал, что все радиофизики ринулись в исследование ионосферы, плазмы и прочего, что ближе к космонавтике.

Половина докладов была из тех, которые нужны будущим кандидатам, чтобы набрать шесть печатных работ. Ведь любой доклад, даже самый захудалый, засчитывается как печатная работа. И сами докладчики пытались отбарабанить их побыстрее, облегченно вздохнуть и скромно сесть на место. Вопросов и выступлений по таким докладам обычно не бывает.

Потом начались доклады посерьезнее. Некоторые были просто блеск. А уже в шестом часу выступил и я. Я говорил сдержанно и уверенно, и меня слушали не перебивая. Мне даже показалось, что не будет завтрашней статьи о «беспочвенном фантазере». Вопросы задавали самые простенькие, и я уже надеялся выйти отсюда живым, но это была только легкая разведка. И через полчаса от моего доклада не осталось камня на камне. Причем особенно старались «зубры» из Усть-Манского политехнического института. Как назло, в комнату вдруг вошел корреспондент и несколько раз сверкнул фото-вспышкой.

А я почему-то не был особенно расстроен. Конечно, от Гошки мне достанется. И денег на летнюю экспедицию дадут в три раза меньше, чем необходимо. Но я сделал все, что мог. Я старался изменить корреспонденцию в завтрашней газете. Старался изо всех сил. Ничего не вышло. И теперь я знал, что в газете все будет так, как я уже читал. Значит, девушка из стеклянного киоска действительно продает завтрашние газеты!

3

Я зашел за ней без двадцати восемь. Раньше не мог освободиться. Двадцати минут до закрытия киоска мне хватило, чтобы немного согреться.

— Ну и как? — спросила Катя, а глаза у нее лукаво смеялись.

— Все правильно, — ответил я. — Доклад прожекторский. Странно только это все. Откуда же тебе привозят завтрашние газеты?

— Из типографии, — сказала она.

— И все в Усть-Манске так спокойно относятся к тому, что ты продаешь завтрашние газеты?

Мне показалось, что она погрузнела.

— Так ведь мало кто знает, что это завтрашняя газета. Для всех она сегодняшняя.

— Постой, постой. Значит, для тебя эта газета завтрашняя, а для всех других — обыкновенная, сегодняшняя?

— И для тебя она завтрашняя, — сказала Катя.

— И для меня. Хорошо. А для других?

— А для других она сегодняшняя.

— А часто встречаются люди, для которых она завтрашняя?

— Не очень.

— Ну а все же?

— Ты первый, — она улынулась и сморщила нос. — Я сразу подумала, что ты увидишь ее.

Пора было закрывать киоск. Катя переобулась в валенки, потушила свет и закрыла киоск. Нам повезло, и через минуту мы остановили такси. Гулять на улице в такой мороз было невозможно, особенно для меня. Я пригласил ее к своему институтскому товарищу, и она согласилась.

Мой товарищ жил в двухкомнатной квартире. Его жена только что пришла с работы и сразу же начала жарить картошку. Трое ребятишек, от шести до девяти лет, затеяли с нами беседу о Томе Сойере.

Так уж принято, что раз встреча, значит надо бу-

тылку вина. И мы, конечно, ее выпили. Часов в одиннадцать мы ушли. Я проводил Катю до общежития и даже зашел в коридор. Мы проговорили еще с час, но я уже не приглашал ее с собой в экспедицию. Я и сам бы с радостью согласился продавать завтрашние газеты.

Мне всегда все хотелось узнать до конца, и я спросил Катю:

— Ну а какой же все-таки смысл в этих завтрашних газетах, если этого никто не знает?

— Я-то знаю, — ответила она.

— Но ты все равно ничего не можешь сделать!

— Как знать, — ответила она мне загадочно. — Завтрашние газеты приходят разные. Не во всем, конечно. В мелочах. Погода чуть теплее или холоднее. Чья-нибудь болезнь или выздоровление, чья-нибудь радость или грусть. Газеты приходят немного разные, а я выбираю какую-нибудь одну. И уж это и есть настоящая газета.

Она резко наклонила мою голову, поцеловала в губы и убежала, крикнув:

— Завтра в девять!

А я остался стоять, растерянный и счастливый.

4

Утром я встал часов в семь. Сосед по комнате еще спал, и его виртуозный храп разносился, наверное, по всей вселенной. Он не давал спать мне всю ночь, но и сейчас, в бодрствующем состоянии выслушивать его рулады у меня не было сил. Я оделся и пошел в буфет съесть горячую сардельку. Потом вернулся в комнату, взял портфель, пальто и вошел в фойе. Находиться в комнате я по-прежнему не мог. В фойе я просидел, на-

верное, с час. Я должен был зайти к Кате в киоск в девять часов, а было еще только восемь.

В полдевятого я не выдержал и очертя голову ринулся в морозное утро. На улице было ничуть не теплее вчерашнего, и, наученный горьким опытом, я теперь передвигался по улицам только бегом.

Газетный киоск, как и вчера, блестел, словно усыпанный алмазами. Я постучал в окошечко и вместо приветствия крикнул:

— Катя-Катюша, я замерзаю!

Она ничего мне не ответила, скомканная газета зашуршала внутри киоска, я дернул ручку двери и ввалился внутрь киоска.

Катя сидела, повернувшись ко мне всем корпусом и прижимая к груди кипу пахнущих типографской краской газет.

— Я вовремя? Я не опоздал?

— Не знаю, может быть, — сказала она еле слышно.

Это меня несколько удивило и озадачило. Она была чем-то расстроена и словно не хотела со мной разговаривать. Я спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Случилось, — сказала она. — Мне нужно уйти. Я ничего не понимал.

-- Прости меня, Дмитрий. В десять часов загорелся... загорится детдом на улице Вершинина. Я должна предупредить.

Я мельком взглянул на часы. Времени было еще больше часа. А до улицы Вершинина, где расположен детдом, я знал, было минут десять ходу.

— Здесь есть где-нибудь телефон поблизости? Надо просто позвонить им.

— Телефон есть в Институте радиоэлектроники. Но по телефону могут не поверить. Надо идти.

— Мы успеем еще, — сказал я. — Давно ты это прочла?

— Только что, когда ты стукнул в окошечко.

— Бежим, — сказал я.

— Не ходи со мной. Я должна одна.

— Ерунда. Подробности известны?

— Известны, — ответила она, но как-то через силу, словно не хотела отвечать, словно говорила неправду.

— Дети все целы?

— Все... один чуть не сгорел.

Я выскочил из киоска, за мной вышла Катя, закрыла киоск на замок и сунула ключ мне в карман. Я был немного взвинчен и не так остро чувствовал мороз, как пять минут назад.

Она схватила меня за руку, и мы побежали. Первые метров сто мы молчали, потом она повернула голову и испытующе посмотрела на меня. Я попытался улыбнуться, но губы все-таки успели уже замерзнуть.

— Я бы поехала с тобой хоть поварихой, — сказала она.

— Так поедем! Решайся! — Слова мои были бодрые, но вслух получилось что-то отнюдь не героическое.

— Хорошо бы, — ответила она.

— Поедем, — я остановил ее на мгновение. — Зачем дожидаться лета. Поедем через три дня, когда кончится конференция?

Она смешно сморщила свой носик, и кивнула, и снова потащила меня вперед. Мы побежали по проспекту Кирова. Возле кинотеатра «Октябрь» мы срезали угол и очутились на улице Вершинина, прямо напротив детского дома. Здание было новое, двухэтажное, кирпичное, в окнах горел свет, и ничто не предвещало близкого пожара. Мне даже вдруг показалось, что Катя подшутила надо мной, что она зачем-то проверяла ме-

ня. Но она так решительно дернула калитку небольшого, не выше метра, заборчика, что у меня пропали всякие сомнения. Калитка тотчас же со скрипом отворилась, но возле парадного нам не повезло. Или звонок не работал, или его никто не слышал. И только когда мы догадались обежать дом, то сообразили, что парадное наверняка завалено всяким хламом и входить нужно с черного хода.

Дверь была открыта, а свет — конечно, в целях экономии — выключен. Натыкаясь друг на друга и на ступени, мы добрались до коридора. В нем было светло. Напротив можно было угадать парадную дверь, еле проглядывавшую, и то лишь сверху, сквозь груды самых разнообразных предметов. Слева располагалась кухня. Оттуда тянуло приятными запахами. Рядом была комната, что-то вроде столовой, и там уже сидели ребяташки, вихрастые и бритые, с косичками и коротенькими прическами. Две воспитательницы с подносами ходили вокруг столов. Направо была спальная комната. Что находилось на втором этаже, я, конечно, не знал.

Катя сразу же направилась к двери, где сидели дети, и сказала женщинам, поманив их рукой:

— Можно вас на минутку?

Воспитательницы взглянули на нее удивленно, и одна из них, поставив поднос на тумбочку, подошла к дверям.

— Здравствуйте, — сказала Катя и пригласила ее выйти в коридор.

— Здравствуйте, — сказала женщина и переступила порог.

— Не спрашивайте, откуда я это узнала, — начала Катя. — Я не смогу этого объяснить толково... Около десяти часов в этом здании возникнет пожар.

— Ой, — схватилась за грудь женщина.

— Надо одеть детей и договориться с соседними домами, чтобы их приняли.

— Ой, — повторила женщина и позвала вторую: — Мария Павловна!

Дети с интересом поглядывали на эту сценку и уже начинали шуметь и шалить.

— Мария Павловна, пожар у нас, — запричитала женщина.

— Что случилось? — строго спросила Мария Павловна. — Вы кто такие?

— Я продаю газеты, он — инженер. В десять часов у вас будет пожар. Детей надо выводить.

— В такой-то мороз выводить? — снова строго сказала Мария Павловна.

— Так ведь пожар, — прошептала первая воспитательница.

— Действовать надо, — решился вступить в разговор и я. — У вас тут есть телефон?

— Есть, — ответила Мария Павловна и показала рукой. Телефон оказался за моей спиной.

— Он позвонит в пожарную, а вы одевайте детей, — Катя говорила спокойно и негромко. Она старалась говорить убедительно, чтобы ей поверили.

Первая воспитательница, испуганно ойкая, убежала на второй этаж. Из кухни вышла повариха и присоединилась к нам. С улицы пришел дворник, закутанный шарфом почти до самого лба, и стукнул о пол деревянной лопатой, которой сегодня на улице делать было совершенно нечего.

Я набрал номер и сказал в трубку, когда на другом конце провода ответили:

— Нужно пожарную машину к детдому на улице Вершинина.

— Давно горит? — деловито осведомились у меня, а невидимому для меня собеседнику крикнули: — Седьмую заводи! Что горит-то? — это уже относилось ко мне.

— Пока ничего, но в десять часов загорится.

— Снова шутники, — недовольно сказал голос, и трубку повесили.

Я набрал номер второй раз, но разговор мой кончился так же безуспешно. Мне не верили.

Со второго этажа спустились три женщины. Одна из них была заведующая детским домом.

— Противопожарная безопасность у нас в порядке, — сказала она нам. — Вы с проверкой?

Кате снова пришлось объяснять, но заведующая все же подтащила нас к стене и заставила прочесть «порядок эвакуации детей в случае пожара». «Порядок» был просто чудесным, и было очень жаль, что он неосуществим в данном здании ни при каких обстоятельствах.

— У вас хоть есть огнетушители? — спросил я, поглядывая на часы. Было уже около десяти.

— Есть, — сказала заведующая. — Были то есть. Они вот тут висели, — и она указала на три более темных, чем остальная стена, пятна. — Один сорвался и чуть было не убил Танечку Солнцеву. Пришлось в сарай вынести.

Время шло. Нужно было что-то предпринимать.

— Почему огнетушителей нет на месте?! — рявкнул я.

Заведующая сразу струсила. Кто их знает, может, действительно комиссия с проверкой.

— Аникенч! — крикнула она. — Тащи живо огнетушители!

Дворник рванулся на улицу, тотчас же возвратился, потому что у него не оказалось ключей. Женщины на-

чали нервно разбираться, у кого могут быть ключи. Аникеич нашел их у себя и снова ринулся на улицу.

— Одевайте детей! — приказала Катя.

Ее и послушали и нет. Детей подняли из-за стола и повели по коридору. Но все это делалось как-то неуверенно, словно все ждали, что ложную тревогу вот-вот отменят.

Детей было человек пятьдесят. И, как я понял позже, на втором этаже было еще сто двадцать. Я начал растаскивать свалку у парадного входа. Санки кидал прямо в спальню, бочонки с остатками прокисшей капусты закатывал на кухню. Кто-то пытался мне помочь, но я крикнул, чтобы быстрее одевали детей и сразу же выводили на улицу.

Катя снова позвонила в пожарную команду, и ей, кажется, поверили. Я разгреб половину свалки, и теперь мне нужно было только добраться до двери, чтобы все остальное выкинуть прямо на улицу. Пошли какие-то грабли, лопаты, старые половики и ведра с пробитыми днищами.

Повариха загасила плиту водой. Начали выключать электрокамины, но они были включены в самых неподходящих местах, так что до розеток кое-где нельзя было сразу и дотянуться. Одна из воспитательниц побежала в кинотеатр договариваться, чтобы там приняли детей в фойе. Заведующая все еще не верила нам. Что она с нами сделала бы, окажись эти, хотя и неорганизованные, приготовления напрасными!

Отворилась дверь черного хода, и в коридор ввалился дворник с двумя огнетушителями в руках. Он несколько раз чихнул, пытаясь что-то сказать. Наконец это у него получилось.

— Горим! — крикнул он, прибавив несколько крепких слов, и ударил огнетушителем об пол. Только тол-

ку от этих мерзлых огнетушителей было мало. А пар, ворвавшийся вместе с дворником в коридор, не рассеивался. Это был не пар. Это был дым. У меня ело в глазах. Дворник бросился помогать мне. И когда парадная дверь была очищена, деревянная перегородка уже горела.

Через двадцать минут приехала пожарная машина. Дети к этому времени уже были переведены в кинотеатр. Пожарное начальство осталось разбираться в причинах пожара. Воспитательницы еще не совсем пришли в себя от пережитого. А я летел в машине «Скорой помощи», держа в своей руке холодную и мокрую Катину ладонь. Катя пыталась удержать падающую деревянную перегородку между двумя комнатами, чтобы успели увести последних детей. Их увели по запасному выходу, металлической лестнице со второго этажа во двор. Их всех увели, а она не успела отскочить, и горящая деревянная перегородка прижала ее к полу. За минуту до этого она сунула мне в руки полуодетую девочку и крикнула, чтобы я подошел с улицы к окну, возможно, через него придется подавать детей.

На мне даже мелких ожогов не было. А на ее лицо мне не разрешили взглянуть, оно было закрыто чем-то белым.

5

Я сидел в холле клиники, растерянный и разбитый. Они сказали, что сделают все, что в их силах. Я представлял, в каких случаях говорят такое.

Мне раза три предлагали уйти, потому что я ничем не мог помочь и только раздражал врачей своими вопросами. Когда меня выгоняли в четвертый раз, а я

все приводил доводы, чтобы остаться, один из молодых врачей вдруг сказал:

— Пусть попытается, если хочет помочь. Завтра об этом объявят в газетах, сегодня вечером передадут по радио, но может быть уже поздно. Вы где живете?

Я покачал головой:

— Я приезжий.

— Жаль. Значит, у вас здесь нет знакомых?..

— Есть, но очень мало.

— Нужно делать пересадку кожи. Нужны добровольцы. Человек пятьдесят. Может быть, больше.

— Я сделаю! — закричал я и выбежал на улицу.

Конференция уже начала свою работу.

У меня хватило соображения не поднимать паники и разыскать своего институтского товарища. Он выслушал меня молча и сказал:

— Подумать только. Вчера она была такая веселая. — И добавил: — Ты хорошо сделал, что сказал мне. Все будет сделано. Вашу же секцию и пошлем первой.

Я вошел вместе с ним в помещение, где работали радиофизики-почвенники, и сел на первый же попавшийся стул. Мой товарищ о чем-то пошептался с председателем секции, и тот, дождавшись, когда выступающий закончит свой доклад, объявил всем:

— Товарищи! В городе произошел несчастный случай. Требуется кожа для пересадки. Я думаю, мы сделаем перерыв и все вместе пойдем в клинику. Это недалеко, всего два квартала... Девушка может умереть.

В клинику отдельными группами и через определенные интервалы пришла вся конференция.

Около часу дня меня все-таки впустили в палату, где находилась Катя. Белая подушка, белая простыня поверх тела и моток бинтов вместо лица. Только черные

кружочки глаз с обожженными ресницами да чуть обозначенные губы. Я присел на табурет рядом с кроватью. Катя смотрела на меня неподвижно, не мигая. А я не знал, что сказать ей сейчас. Все слова застряли у меня в горле. Я бы только погладил ее по щеке и волосам, но этого нельзя было делать. Я просто кивнул ей и попытался бодро улыбнуться. Не знаю, что она прочла в моей улыбке, но губы ее слегка шевельнулись, и по их движению я понял, что она сказала:

— Щеки почернеют, любить не будешь...

— Буду, буду, — сказал я. — Катя, я увезу тебя из Усть-Манска. А летом мы поедem в Васюганские болота кормить комаров.

Меня вывели из палаты. Кате снова стало хуже.

— Вы здесь ничем не можете помочь, — сказали мне. — Идите в гостиницу. Зайдите к Кате на работу, сообщите, что случилось. Ну, в общем, делайте что-нибудь, действуйте. Завтра утром можете приходить.

Я вышел на проспект и пошел по нему вниз.

6

Я был в состоянии какого-то душевного оцепенения, в голове не было ни одной мысли. Даже мороз не действовал на меня. Так я дошел до Катиного газетного киоска и вспомнил, что ключ от него лежит у меня в кармане. Я открыл замок, зашел внутрь и включил свет. Газета лежала четвертой страницей кверху. Я сразу нашел небольшую заметку в отделе происшествий. В ней говорилось, что вчера в десять часов утра из-за плохой электропроводки возник пожар в детдоме по улице Вершинина. При спасении детей погибла Екатерина Смирнова.

Катя Смирнова. Я даже не знал, что ее фамилия Смирнова. Просто Катя-Катюша.

В газете была написана неправда! Ведь она не погибла при спасении детей. Она жива!

Я случайно взглянул на скомканный лист газеты, лежавший рядом, и вспомнил, что, когда утром я зашел к Кате в киоск, она смяла газету, взглянула на ту, что сейчас лежала передо мной, и только после этого сказала, что будет пожар. Она знала, что с ней произойдет, и все же пошла.

Я развернул смятую газету. Она тоже была завтрашняя. И заметка о пожаре была. Только в ней говорилось, что погиб Дмитрий Егоров.

В висках глухо застучало. Теперь я понял всем своим существом, что она имела в виду, когда говорила, что по утрам выбирает газету. У нее всегда бывает несколько разных экземпляров. И вот сегодня она выбрала свою смерть только потому, что еще был я. Это я должен был держать падающую горящую стенку, а она отправила меня на улицу с поручением, которое мог выполнить любой другой. Я должен был лежать, придавленный горящими досками.

Я взял из пачки еще одну газету... Погиб Дмитрий Егоров... Третью... Тоже самое. Я настойчиво искал нужную мне газету. Должен быть третий вариант. Должен! Кате просто не хватило времени, чтобы найти его. Она так спешила. Она так обрадовалась, что нашла второй, что я останусь жить...

Сегодня я выберу завтрашнюю газету.

И я нашел этот экземпляр. Он был правильный. Ведь сотни людей сделали все, чтобы она жила, сотни людей старались, сами не зная того, изменить содержание заметки.

И я решил, что выберу и буду продавать именно эту

газету, чтобы все знали, что Катя жива, что она только получила страшные ожоги, но она будет жить, обязательно будет жить. Я буду внушать это всем людям, которые заглянут в киоск.

Но было слишком холодно, и никому не хотелось задерживаться у киоска. Тогда я вышел на тротуар с пачкой газет и начал раздавать их прохожим.

— Прочитайте, пожалуйста, про Катю Смирнову! Она будет жить! Прочтите! Катя будет жить! Захотите этого!

Сначала я думал, что на меня будут смотреть как на сумасшедшего. Но ничего подобного не произошло. Прохожие брали газеты, останавливались, расспрашивали меня, сочувствовали, выражали надежду, что она, конечно, будет жить.

— Вы должны очень желать этого, — говорил я. — Это она, Катя, доставляет вам маленькие и большие радости. Вы не замечаете этого, потому что не знаете, что, не будь ее, не было бы и ваших радостей. Это она хочет, чтобы была хорошая погода, и вы идете в лес. И вам приятно и весело. Это она предотвращает катастрофы на улицах. Это она сделала так, что девяносто девчат нашли своих парней. А без нее они могли бы и не встретиться. Правда, она не может выполнить план даже маленького завода или фабрики. Ну не беда. Это могут сделать другие. Читайте газету. Пусть Катя живет!

— Это же королева Усть-Манска, — сказал кто-то. Мне поверили, и теперь я знал: Катя будет жить, потому что все этого хотят.

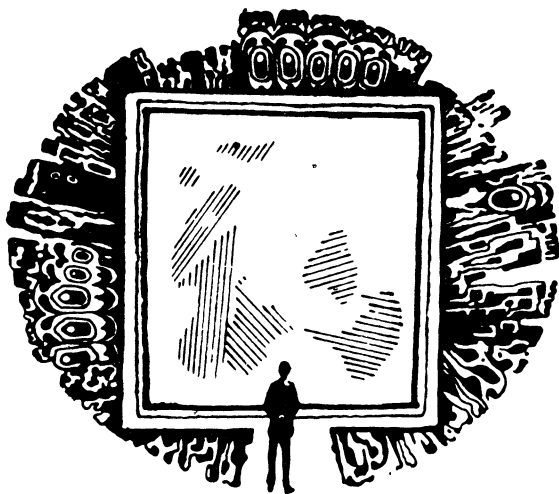
Я зашел на главпочтамт и отдал ключи от газетного киоска. Потом я забежал на конференцию, и «зубры» из Усть-Манского политехнического института сказали, что я буду временно работать в их лабораториях, что в моем фантазерстве что-то есть, что они уже дали теле-

грамму в мой институт о продлении моей командировки. Они понимали, что мне сейчас нельзя было уехать из этого города.

Я буду находиться здесь, в Усть-Манске, пока не докажу им, что можно видеть сквозь землю, пока Катя не выздоровеет, пока не начнется подготовка к экспедиции, пока мы вместе с ней не улетим на Север, в болота, в гнус, в дождливые дни и в песни.

Я бежал в клинику. В двадцати шагах от себя ничего нельзя было рассмотреть, такой стоял туман. Полста градусов ниже нуля. Редкий скрип шагов да пронзительные гудки машин и холод, холод... И в Усть-Манске, и в его пригородах, и на тысячи километров вокруг...

Я бежал к Кате, потому что она меня ждала.



Вдохновение

В одном из залов краеведческого музея открывалась выставка картин художников-любителей. Событие не такое уж и ординарное для Марграда! К 12 часам дня широкая лестница, ведущая на второй этаж, была запружена людьми.

Внизу, около раздевалки, стоял Юрий Иванович Катков, крепкий мужчина лет сорока пяти. Было заметно, что он немного нервничает, но старается казаться спокойным. Ему было отчего волноваться. Он выставил в зале свою картину, после того как двадцать пять лет не брал в руки кисть.

Приглашенный из Новосибирска известный художник

Самарин перерезал красную ленточку, и люди хлынули в зал, светлый и просторный.

Народу внизу стало меньше, и Юрий Иванович не спеша начал подниматься по лестнице. Войдя в зал, он остановился возле первой же картины и начал внимательно ее рассматривать. Два монтажника стояли на перекладинах опоры высоковольтной линии. Их богатырские фигуры, веселые лица, потоки света, льющиеся на них спереди, создавали атмосферу радости. Им было легко работать. Это чувствовалось в их позах и выражениях лиц. Лишь бы вовремя подвозили изоляторы и бухты провода. Спасательные пояса не подведут, движения точны, сила в молодых телах, красота вокруг. Эти люди были победителями.

Каткова мало интересовала техника живописи. О какой уж технике говорить или рассуждать, когда столько лет прошло среди станков, машин и гор металла, когда руки огрубели и держат свободнее тяжелый гаечный ключ, чем легкую кисть. Вот и здесь. Отточенная техника мастера не тронула его. Он отметил только общее настроение, которое вызвала у него картина. Это было ощущение победы, но победы легкой. Эти парни наверняка не знали, что такое настоящий бой. Им все давалось легко.

И все же картина ему понравилась. Но задерживаться возле нее надолго не было желания. Достаточно было взглянуть, почувствовать счастье этих парней, а потом сразу идти дальше. Тогда еще ощущение радости труда, которое хотел передать художник, оставалось.

Катков прошел мимо унылого, серого пейзажа.

Посетители выставки говорили о цвете и красках, о размерах картин и тщательно проработанной перспективе пейзажей, о подражании Дейнеке, о самобытном развитии Сарьяна, о том, сколько времени тратит

художник на свою картину, и о том, сколько он получит денег, если картину продадут. Одни подолгу останавливались возле каждого полотна, другие чуть ли не бегом осматривали сначала все и лишь потом задерживались возле наиболее для них интересного.

Девчонки носились стайками, пожилые женщины искали диванчики, чтобы немного отдохнуть. Несколько молодых парней остановились возле портрета знатной доярки и вдруг заговорили об экзаменационной сессии.

Окна были открыты, и в зал врвался шум центральной городской магистрали, слышалась смешная песенка, исполняемая нестройными тонюсенькими голосами ребятишек из детского сада, шелест тополей.

Комиссия приняла картину без всяких возражений, но сейчас Юрий Иванович на мгновение испугался. А что, если ее здесь нет? Он ушел с работы, чтобы осмотреть выставку одному. Потом можно будет прийти всей семьей.

И вдруг он почувствовал, что следующее полотно его, хотя самой картины еще не было видно, так как перед ней собралось много людей.

— Еще одно направление! — с гневом в голосе сказал красивый высокий мужчина, выдираясь из толпы. — Вы представляете — пустое полотно. А название «Вдохновение».

— Нет, нет, — сказал другой. — Оно не совсем пустое. Там какие-то тени, но нельзя понять, что это такое.

— Куда смотрят устроители выставки?! Так и до сюрреализма можно идти и до поп-искусства!

Катков посторонился, пропуская разгневанного мужчину и его спутника, и на мгновение увидел свою картину. Да нет же! Она не пустая! Что имели в виду эти двое?

И вообще возле его картины говорили непонятное, совсем не относящееся к его полотну. Так, во всяком случае, ему показалось. Может, речь идет о соседних полотнах? Но рядом висели два индустриальных пейзажа.

Катков постоял немного и отошел к окну.

Он давно хотел написать эту картину. Наверное, тогда же, двадцать восемь лет назад. Но была война. Мать возвращалась домой поздно вечером с провалившимися от усталости глазами. Отец, вернувшийся с фронта без руки, все ходил по родным и знакомым и пил. Раньше он был резчиком по слоновой кости. А теперь, с одной-то рукой!.. По ночам мать шила рукавицы, стирала белье и плакала. Только семилетний брат и пятилетняя сестра не знали забот и допоздна носились по улицам. А солнце летом в Якутске почти не заходит.

Война была далеко, за тысячи километров. Но ее чувствовали не только по сводкам Совинформбюро. Калеки на улицах. Дети худые, как прутья. И здесь, за шесть тысяч километров от фронта, был госпиталь. В школах — военная подготовка, штыковые бои. Посылки на фронт с теплыми варежками и бельем... А он, ученик девятого класса, организует бригады по заготовке дров, жердей, погрузке угля...

Он услышал за спиной вежливое покашливание и оглянулся. Перед ним стояли марградский художник Петровский и незнакомый Каткову пожилой человек.

— Самарин, Анатолий Алексеевич, — протянул он руку.

— Катков, Юрий Иванович, — так же односложно ответил Катков.

— А скажите-ка, Юрий Иванович, где мы раньше с вами встречались?

— По-моему, нигде, — ответил Катков. — Да. Я уверен. Мы с вами нигде не встречались.

— А вы случайно не работали в студии Броховского в Усть-Манске? Примерно в пятидесятом?

— Нет, нет, я никогда не был профессионалом.

— Странно, откуда же вы знаете, что я там работал и что это именно там со мной произошло?

— Да нет же! Я впервые слышу, что вы там работали. А что там произошло с вами, тем более не знаю.

— Странно, — задумчиво сказал Самарин и смешно задвигал козлиной бородкой.

Художник Петровский все время стоял молча, но по его лицу было видно, что он хочет что-то сказать. Юрий Иванович кивнул ему, и тот, откашлявшись, спросил:

— Вы ведь знаете, что ваша техника не блестяща?

— Но ведь я только любитель.

— Ну да не в этом дело. Я хотел спросить, где вы откопали сюжет своего полотна?

— Мне его не пришлось откапывать. Он у меня уже двадцать восемь лет. Все никак не мог собраться. Думал, что уж никогда не напишу.

— Вы сказали: двадцать восемь? Но ведь это было всего пятнадцать лет назад.

Юрий Иванович рассмеялся:

— Да нет же. Это было в сорок третьем, в Кангалассах.

— Невероятно. Я точно знаю, что это было в Ташкенте, в пятьдесят пятом.

— Вы, наверное, говорите о чем-то другом.

— Я говорю о полотне, которое называется «Вдохновение». — Он растянул рукав рубашки и закатал его до локтя. — Вот чем мне пришлось заплатить за это вдохновение. — Его рука от локтя до запястья была

обезображена шрамом. — Но я не жалею, — улыбнулся Петровский. — За это можно было отдать и жизнь.

— За что, за это? — спросил Катков.

— За вдохновение, — ответил Петровский.

— И все равно я не могу поверить, что вы никогда не бывали в студии Броховского, — сказал, прощаясь, Самарин. — Простое совпадение здесь невозможно.

Катков еще с полчаса побродил по залу, подолгу задерживаясь возле некоторых картин. Многое ему нравилось. И только несколько бодряческих, скорее похожих на рекламы, картин вызвали у него недоуменную улыбку. Все в них было напояказ, неестественно легко и неправдоподобно.

Его все-таки тянуло к своей картине. И он снова подошел к ней.

На картине был изображен обрывистый берег с широкими деревянными мостками, по которым несколько ребят цепочкой катили тачки с углем. Возле берега стояла широкая деревянная баржа. В ее необъятное нутро они сбрасывали уголь из тачек и возвращались назад на берег.

...Да. Все было действительно так. Небольшой поселок Кангалассы в двадцати километрах от Якутска вниз по Лене; горы угля на берегу, черные от угольной пыли тела, горячее якутское солнце и проливные дожди, четырнадцать ребят и усталость, усталость, усталость...

Они приехали сюда с гитарой и мандолиной, чтобы по вечерам сидеть у костра и петь. Вначале у них еще было свободное время, но все тело так уставало за день, что руки отказывались держать гриф. Поскорее смыть с себя грязь и уголь, поест, блаженно растянуться в палатке во весь рост, немного поговорить, пошутить над нерасторопным Алехой Бирюковым и за-

снуть. А утром голос Потапыча: «Хлопцы! Уголек ждет!» Никто не знал, когда он умудрялся спать. Это был семижильный старик, всюду и все успевавший делать. Он наращивал деревянные съезды с кучи угля, варил картошку, разжигал костер, нагружал тачки ведерной лопатой. И все время приговаривал: «Уголек-то ждет, хлопцы».

А с хлопцами что-то происходило. Раньше они были уверены, что могут все. Перевыполняли же план на лесозаготовках! Они и на фронт пошли бы, не берут только. И работать могут как черти. Дайте только эту работу!.. А вышло, что не такие уж они железные. И летний зной оказался невыносимым. И баржи оказались какими-то бездонными. Болели все мускулы, все тело, не успевавшее втягиваться в монотонный, но бешеный ритм работы. Они грузили по четырнадцать часов в сутки, но Потапычу все было мало.

Ведь скоро кончится короткое якутское лето, начнутся дожди, холод, пойдет по Лене шуга. И до следующего лета будут лежать бурты угля, засыпанные снегом. А в июне и ночью светло почти как днем. Работать можно круглые сутки.

Все понимали девятиклассники. И никому не приходило в голову возмущаться дряблым картофелем и перловой баландой. Четырнадцать часов с тачкой! Надо так надо. Только исчезли шутки, потух огонек в глазах, все делалось через силу, машинально, как во сне.

Потапыч это видел. Каждый раз, когда приезжали новые группы грузчиков, происходило то же самое. Месяц тяжелых работ доводил их до такого состояния, что они уезжали, едва завидев смену и даже не попрощавшись с ним. Потапыч не обижался. Он хорошо знал человеческую натуру. Знал, что неприятности забудутся, люди «отойдут» и уже по-другому будут смотреть на

проведенный в Кангалассах месяц. Но Потапычу от этого было не легче.

Прошло всего две недели, но страшно было представить, что впереди еще две. Потапыч старался растормошить их хоть чем-нибудь. Он достал где-то ведро селедки и несколько пар новых брезентовых рукавиц, читал им при свете керосинового фонаря газету, когда они уже проваливались в лихорадочный сон. Только напрасно это было. Все валилось у ребят из рук.

В конце второй недели произошло событие. Алеха Бирюков не удержал тачку. С берега к барже был порядочный уклон, и тачку неудержимо понесло вниз. Растерявшись, он не выпускал ее из рук и бежал рысцой. А тачка катилась все быстрее и быстрее, и Алеха уже неслись вниз сломя голову, делая нелепые прыжки и согнувшись в три погибели. Тачка при такой гонке сто раз должна была завалиться набок или перевернуться, но она благополучно влетела на баржу, не снижая скорости, пересекла ее по помосту из досок и с шумным всплеском свалилась с противоположного борта. Вместе с ней ушел под воду и Алеха, так и не разжавший пальцев.

Все это произошло настолько быстро, что остальные ничего не успели сделать, только кто-то крикнул: «Потапыч! Алеха!» Растерянность прошла, и двое ребят прыгнули в ледяную воду. С откоса, ломая кусты, спрыгнул Потапыч, быстро отвязал лодку и оттолкнул ее от берега. Очутившись в воде, Бирюков выпустил из рук тачку, всплыл на поверхность и тут же начал пускать пузыри. Он плохо плавал. Двое других еще не успели доплыть до него, когда Потапыч рывком втянул Алеху в лодку. Затем он помог и тем другим влезть в нее, и через минуту лодка была уже у берега. Все это он проделал молча. И мимо ребят на берегу он прошел молча,

не сказав ни слова. Искупавшиеся побежали сушиться к костру. А потом возле них собрались и все остальные.

Это происшествие оправдывало то, что они бросили работу. Ребята сидели у костра, нехотя отгоняя ветками мошкар, лишь иногда перебрасываясь случайными фразами, не находя в себе сил даже для того, чтобы радоваться Алехиному спасению. Устали. Провалилось оно все ко всем чертям! И уголь, и баржа, и Потапыч... Только бы вот так сидеть... Только бы сидеть...

Потом кто-то вспомнил о Потапыче. Странное дело, Потапыч исчез. Юрка Катков с трудом поднялся и, пошатываясь, пошел к палаткам. В одной из них он нашел Потапыча. Через минуту он вернулся к костру и удивленно сказал:

— А Потапыч-то плачет...

Сначала никто не пошевелился, не поверил.

— Он правда плачет...

Они медленно побрели к палатке и откинули полог. Потапыч, стоя на коленях, уткнулся лицом в березовый чурбан. Плечи его вздрагивали. А парни стояли молча, не зная, что делать. Он, наверное, почувствовал их присутствие и поднял голову. Некрасивое лицо его стало черным. Он плакал, но слез на его лице не было. И от этого он казался еще страшнее и невозможнее.

— Саньку убили, — хрипло сказал он.

Они догадались, что это известие еще утром привез ему сморщенный якут Тургульдинов, который на разбитой телеге доставлял им хлеб из поселка.

— Саньку, — повторил Потапыч.

Они так никогда и не узнали, кто этот Санька был Потапычу. Сын, брат, друг, а может быть, дочь?

— Картошку я начистил, — вдруг сказал он. — Ешьте... Спите... Сегодня... — Помолчал, потом чуть слышно сказал еще раз: — Саньку гады убили...

Он снова уронил свою кудлатую голову на чурбан. Они задернули полог палатки и молча пошли по тропинке к костру. Идущий первым чуть замедлил шаг, поравнявшись с ним, но не остановился и прошел дальше к бурту угля. Второй носком разбитого сапога подтолкнул в костер обгоревшую ветку. Третий только оглянулся на идущих следом. Четвертый неуверенно шмыгнул носом. Пятый сказал: «Мошка проклятая!» — и зло сплюнул себе под ноги. Шестой... Седьмой... Двенадцатый крикнул: «Тачка есть у шестого бурта!» Это относилось к Алексе Бирюкову. Ведь его тачка утонула в Лене... Последний оглянулся на палатку. Там, едва не возвышаясь над ней, ухватившись рукой за растяжку, стоял огромный Потапыч...

... — Ах, Юрий Иванович! — услышал Катков лукавый голос соседки по этажу. — Вечно-то вы что-то скрываете!

— А-а-а! Галина Львовна! И вы здесь?

— Пришла вот посмотреть на вашу картину. Раньше ведь вы все отказывались показать. Ну и талант у вас!

— Что вы! Шутите, конечно.

— А я и не предполагала, что вы такой проницательный. Все-то вы знаете. Кто же это вам рассказал?

— Никто. Я сам видел.

— Ой! — сказала Галина Львовна, женщина лет тридцати с хорошенькой фигуркой и красивым, приятным лицом. — Как же это? И зачем вы меня нарисовали в таком виде? — И она смущенно, едва заметным движением показала на середину картины, где Иван Лесков из последних сил, оскалив свои крупные зубы и обливаясь потом, толкал в гору тачку.

Он был высокий и худой. И у него уже не было сил. Но все же было ясно, что он выдержит, на четвереньках вкатит проклятую тачку в гору, трясущимися руками

наполнит ее углем и покатит снова, и упадет, и снова встанет, и снова упадет, и крепкое слово с хрипом вырвется из его горла. Но он все равно докатит тачку до пузатой баржи и вернется назад, потому что в его глазах вдохновение. Вдохновение смертельной усталости. Ему даже не придет в голову, как это выглядит со стороны. Дождь, скользкие доски, грязное тело в ссадинах, шершавые рукоятки тачки.

Алеха Бирюков на вид покрепче. Но в семнадцать лет сил еще так мало. Но и им уже овладело странное вдохновение. Вдохновение, рожденное из злости на самого себя, за свое нелепое падение, за свою слабость, за дрожь в поджилках. Его не утащить с этих скользких досок ни за что на свете. Он не упадет и будет толкать тачку, пока не исчезнут бурты мокрого угля.

И сам Катков, представивший, как сидит, тупо уставившись в колени, его отец, который уже никогда в жизни не возьмет в руки творящий резец. Отец, который выпустил из автомата лишь одну длинную очередь, когда их свежая, только что прибывшая из тыла рота поднялась из окопов, и тут же упал, сначала подброшенный вверх вместе с комьями земли и останками своего лучшего друга, и очнулся за сто километров от линии фронта, еще не зная, что у него нет руки, и снова представляя себе фигурку женщины, вырезанную из слоновой кости, которую он хотел создать еще до войны, но все не решался. Боль за него, за поседевшую мать, боль в мускулах, в висках, в душе. И вдохновение, родившееся из этой боли. Не мимолетное, не легкое, но осознанное и твердое.

Якут Никифор с вдохновением отчаяния в узких черных глазах. Второгодник Сапкин с вздувшимися венами на шее и на руках, еще не знающий, что он больше никогда не увидит своего отца и братьев. Комсорг

класса Бакин, получивший похоронную на отца 1 Мая, в день своего рождения.

Дождь, противный, мелкий, не летний. Вздвухшаяся река. Кургузая баржа. Стекающий вниз скользким глинистым потоком берег. И пятнадцать уставших, отчаянно уставших людей. Четырнадцать девятиклассников и один старик. И где-то чуть заметно, в глазах каждого — еле уловимая радость. Радость, потому что в душе они почти уверены, что выдержат.

Они грузили баржи еще две недели. И еще целый месяц. И еще полмесяца. Им не понадобилось смены. И денег в то время за эти работы не платили. А в последний день, когда по Лене уже шла шуга, Бакин играл на гитаре негнувшимися пальцами, и все пели и плясали у костра, и пар шел из их разгоряченных глоток. Потом Потапыч взял у комсорга гитару и запел: «Там, вдали за рекой...» А они, ошеломленные, слушали и молчали... Такой у Потапыча был голос...

...Юрий Иванович огляделся. Соседка уже отошла, наверное, обиженная тем, что не дождалась ответа.

Он все писал так, как было. Он ничего не приукрашил и нигде не сгустил краски. И название картине он придумал правильное. Это было настоящее вдохновение, родившееся из отчаяния и боли, бессилия и усталости, надежды и борьбы. Он уже давно не знал, где эти парни и что с ними. Но в этой картине они всегда были вместе.

Катков заглушил в себе воспоминания, снова возвращаясь к действительности. Все смотрели на его картину как-то странно. И здесь, в зале, и дома, когда он писал ее, и в приемной комиссии, когда он после долгих размышлений принес ее сюда. Говорили мало, а если и говорили, то что-то непонятное, вроде бы и не относящееся к его полотну. Жена как-то сказала: «Почему ты

пишешь про меня? Пиши про Кангалассы. Ты же давно хотел». Что он мог ответить на это? Ведь он и так писал про Кангалассы. Значит, жена просто не видела этого. Даже младшая дочь, и та все время находила в левом углу картины смешного зайчика и смеялась тому, какой он занятный. И сейчас. Смотрят, молчат, удивляются...

Неужели он не смог выразить в своей картине трудное вдохновение, которое тогда охватило их, неужели оно так и осталось в его душе и никого не трогает?

Юрий Иванович посмотрел на часы. Пора было идти на завод. Он медленно прошел по залу, спустился по широкой мраморной лестнице и вышел на проспект в зной, в шум, в людскую сутолоку, во встречные взгляды и шелест шагов по асфальту.

Однажды он рассказывал школьникам про Кангалассы. Его слушали внимательно, не перебивая. Глаза десятиклассников загорелись. А потом кто-то сказал: «Время тогда было другое». Да, время тогда было другое. Это верно. Но все же, может, время внутри нас? Может, это мы делаем время таким, а не иным?

А Самарин с Петровским спорили, вернувшись к картине Каткова.

— Да, да, да! — говорил Самарин. — Это студия Брововского. Я не вылезал из нее месяцами и никак не мог написать то, что хотел. Я грунтовал написанное за месяц и начинал все сначала. И в душу уже закрадывались страх, и тоска, и жалость, и злость на себя. Было время, когда я хотел все это бросить, но пересилил себя. И тогда родилось это незабываемое вдохновение. Катков предельно искренне изобразил тот самый переломный момент. С него все началось. Не мог он

написать свое полотно, не видя меня в то время. Талант этот Катков.

— Согласен с вами, — ответил Петровский. — И про вдохновение тоже правильно. Но только это написано про меня. Здесь изображен момент, когда отчаяние и страх неизбежного поражения заставили меня собрать всю волю, все свои силы в кулак и победить. Это было тоже вдохновение.

— Значит, вы видите на полотне не то, что я? — спросил Самарин.

— Я вижу самый важный момент в своей жизни, — ответил Петровский.

— Но то же самое вижу и я. Только из своей жизни.

— Это же невозможно! Как ему удалось создать картину, в которой каждый из нас видит свое?

— Мы, наверное, этого никогда не узнаем.

— Счастливый, должно быть, человек этот Катков, — вздохнул Петровский.

А Юрий Иванович шел по мягкому, в дырочках от каблучков, асфальту. В сорок пять лет уже не особенно расстраиваются оттого, что не совершили в жизни ничего значительного, лишь тихая грусть поселяется в сердце.

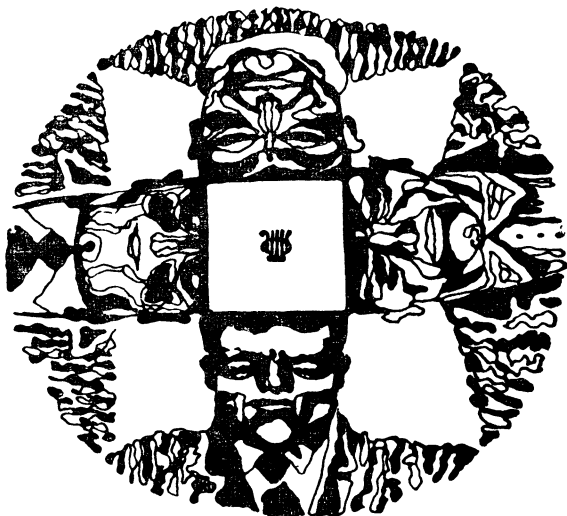
Катков шел на работу, к станкам и чертежам, к привычному шуму завода, к его людям и заботам. И снова, как и двадцать восемь лет назад, отступали усталость последних сумасшедших месяцев, сомнения и неуверенность. И снова в его душе появилось странное вдохновение, и он уже был уверен, что сегодня или завтра найдет причину, по которой взрываются подземные «крыты», — огромные машины, сконструированные им и еще десятком инженеров.

Юрий Иванович расстегнул воротничок рубашки и пошел быстрым шагом мимо расступившихся в стороны

прохожих... А картина? Ну что ж, он напишет еще одну. И снова назовет ее «Вдохновение».

Он не знал, что люди увидели в тот день *себя* на удивительном полотне. Оно заставило их вспомнить, близко ощутить то, что было самым главным в их жизни.

Катков не знал этого. Он шел быстрым шагом, и его ждала новая работа, новое вдохновение.



Зачем жил человек?

1

Владимир Чесноков заглядывал то в одну, то в другую дверь, не зная, к кому обратиться, и не решаясь задать вопрос. Сотрудники молодежной газеты «Утренние зори» деловито сновали мимо него по коридору. К обеду его фигура уже примелькалась, и ответственный секретарь бросил на ходу:

— Хлесткий заголовок для статьи о пионерлагерях. А?

— У меня стихотворение, — ответил Чесноков.

— Чтоб не стандартно и в самую суть. А? — остановился секретарь.

— Стихотворение... вот... — Чесноков бережно вытащил из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и начал разворачивать его.

— А, — досадно сморщился секретарь. — Стихи, стихи! Прозы сейчас пишут мало. — И он неопределенно махнул рукой куда-то в конец коридора.

Чесноков потоптался еще немного и уже собрался плюнуть на все и уйти, но в это время в коридоре снова появился секретарь.

— Ну что у вас с вашим стихотворением? Что Пионов сказал?

— Ничего.

— Он всегда так. Не унывайте.

— Я его даже и не видел еще.

— Правильно. Он сейчас в командировке. Вся поэзия в командировках. Большое стихотворение?

Чесноков не успел ответить. Ответственный секретарь взял его под руку, подвел к дверям с надписью «Редактор» и, втолкнув в комнату, крикнул.

— Тимофей Федорович, это мой знакомый! Борис!

Чесноков оказался посреди комнаты. Смущение его достигло предела. Тимофей Федорович, сорокалетний мужчина, уже страдающий одышкой и давным-давно забывший, чем интересуется юность, сидел за столом и писал заявление о переводе на другую работу. Он уже давно чувствовал, что перестал понимать молодых сотрудников своей газеты, ходивших с модными бородами и в ярких свитерах даже в самую жару. Да и его, он это знал, не всегда понимали. В сорок лет руководить молодежной газетой...

— Ну что там у вас, Борис? — спросил он.

— Стихотворение... Владимир я.

— Отлично. Покажите.

Чесноков протянул ему дрожащей рукой лист бумаги. Редактор на несколько секунд углубился в чтение, а потом спросил:

— Что вы этим хотели сказать?

— ?..

— Ну, в чем идея, мысль стихотворения?

— Шел молодой человек, — начал Чесноков, стараясь говорить бодро и непринужденно, — по улице... увидел девушку. И ему стало очень хорошо.

— А что было потом?

— Не знаю... Просто ему стало хорошо.

— Они так и не поженились?

— Нет. Он ее больше не встречал никогда.

— Откуда вы знаете?

— Я видел это собственными глазами.

— Хорошо. Просто прекрасно... И что же вы хотите? Опубликовать в нашей газете?

— Я просто пришел. Кому-то все равно надо показать.

— А вы что, намерены этим заняться серьезно? Посвятить всю свою жизнь? Или просто так?

— Я бы хотел серьезно, — отважно ответил Чесноков.

— Молодец! — Редактор даже вышел из-за стола и похлопал начинающего поэта по плечу. — Если бы вы написали это просто так, мы бы напечатали недельки через две-три. А если вы серьезно, то придется еще поработать. Серьезно всегда труднее, чем просто так.

Через двадцать минут Чесноков вышел из редакции радостный и улыбающийся. Стихотворение, конечно, не приняли, но сколько он услышал полезного, сколько интересных тем подсказал ему редактор! А в будущем, если его стихи окажутся свежими и оригинальными, то даже напечатают. Честное слово, напечатают!

Чесноков прибежал к себе в квартирку на пятом этаже, с шумом распахнул дверь, поцеловал Анечку, свою жену, бросился на диван, крикнул:

— Работать и еще раз работать! — и начал подробно рассказывать.

Анечка присела на край дивана, широко раскрыла свои голубые глаза и, охая и ахая, в особенно страшных местах повествования прижимала кулачки к груди. Так внимательно и не перебивая выслушала она Володеньку. А когда он закончил свой рассказ, сказала:

— Володька! А ведь ты в душе и так поэт. Я это знаю.

Владимир смутился и начал было возражать, но Аня перебила его:

— Неужели ты станешь настоящим, общепризнанным поэтом?

Чесноков вздохнул и сурово произнес:

— Все зависит только от нас.

Анечка утвердительно кивнула головой.

2

Чесноков работал старшим инженером на радиозаводе. Анечка готовила торты на кондитерской фабрике. Оба любили литературу, разбирались в поэзии и значительную часть денег тратили на приобретение книг, чем вызывали недоумение, а иногда и смех у соседа по лестничной площадке Вениамина Кондратюка, весь бюджет которого был подчинен одной цели — приобретению мотоцикла — мотоцикла с коляской — «Запорожца» — «Москвича» и т. д.

Чесноков на три месяца был освобожден от мытья полов в квартире. Писать так писать!

Они приходили с работы почти одновременно, разогревали вчерашний борщ или суп с лапшой, наскоро перекусывали. Владимир выкладывал на стол лист чистой бумаги, шариковую авторучку и начинал расхаживать из угла в угол. Анечка занималась домашними делами, которые никогда не переделаешь, сколько ни старайся.

Начало каждого такого вечера пропадало для Чеснокова зря. Он ничего не мог написать. В голову лезла всякая ерунда, которая отлично рифмовалась, но в ней не было ни крупицы чувства. Плоское, ремесленное, как по заказу для ширпотреба.

— Вовка, перестань мучиться, — говорила обычно Анечка, вытирая мокрые руки передником и бросая свою работу. Она брала его за шею своими маленькими крепкими руками и заглядывала ему в глаза. И ее глаза были крохотным, но интересным, ласковым миром. Маленькой вселенной.

— Ну, отпусти меня, — говорила она.

— Подожди, — отвечал он. — Я еще не все прочитал.

— Что там можно прочесть?

— Все. Там все мои стихи.

Она прижималась к его груди и слушала, как бьется там сердце, восторженное и одержимое.

Потом они садились на диван или прямо на пол, и она о чем-нибудь его спрашивала, а он отвечал. Или он спрашивал, а она отвечала. Они вспоминали: «А помнишь...», мечтали: «Вот будет здорово...», спорили: «Володька, ты не прав»; решали тысячи проблем и создавали тысячи новых. В голове у Чеснокова рождались музыка и стихи. Стихи у него всегда были связаны с музыкой. Анечка замолкала, чувствуя, что с ним происходит что-то странное. Может быть, это состояние странности

она и любила в нем больше всего. Он и сейчас был таким же, как в день их знакомства. И она хотела, чтобы он был таким всегда — близким, родным и странным.

— Прочи, — просила она шепотом.

Он начинал говорить. И она переносилась в странный, необычный и в то же время удивительно знакомый мир.

В нем были их друзья, знакомые, старый сибирский городок, ветер морей, россыпи звезд, молоденькие деревца и крики ребятишек за окном. Все было так, как она привыкла видеть каждый день, и только какой-то сдвиг его настроения делал все свежим, удивительно неожиданным. Мир раскрывался под каким-то новым углом зрения. Может быть, это было вдохновение? Или талант? В его мире плакали и смеялись, радовались и печалились, любили и ненавидели. Но все там было честным, странным и необыкновенным. И если в его стихи иногда врывался крик боли и отчаяния при виде уродства человеческих отношений, то он звучал диссонансом. Очень странным диссонансом, без которого вся музыка поэзии превращалась в изящную пошлость.

Перо и бумага ненужными валялись на столе.

— Кажется, началась сплошная ерунда, — говорил он, и они шли гулять в Университетскую рощу или Лагерный сад, если погода была хорошая, или, раскрыв дверь на балкон, слушали шум дождя. И молчали.

Сколько можно сказать друг другу таким молчанием!

Иногда он сам записывал стихи, иногда это делала Аня.

Случалось, что у него «заклинивало» и стихи не писались. Тогда они заходили в ближайший магазин, покупали большую бутылку вина и шли к кому-нибудь в гости или приглашали к себе.

Сосед по площадке купил мотороллер. Чесноков помогал грузить его на машину, втаскивать в гараж и вместе с женой был приглашен на «обмыв» покупки.

Собралось человек восемь, все заядлые мотоциклисты и автомобилисты. Разговор, естественно, вертелся вокруг автомобильной темы. Кондратюка поздравляли, пили за колеса, за руль, за запчасти. Советы сыпались со всех сторон. Вениамин Кондратюк сиял. Его жена незаметно сновала из комнаты в кухню, таская тарелки и стаканы.

Вначале Чесноков чувствовал себя очень неуютно, но потом постепенно освоился. Кондратюк то и дело бегал в гараж посмотреть, не сперли ли его мотороллер. Мотороллер никто не спер. Кондратюк показывал всем ключ зажигания и старательно окунал его в стакан с водкой.

— А почему бы и вам не купить мотороллер? — спросил он Чеснокова.

— Действительно, почему? — зашумели вокруг. — Красота! В лес, на базар за картошкой. Быстро.

— Мы как-то не думали об этом, — сказал Чесноков.

— Да у нас и денег-то нет, — сказала Анечка.

— Ага! Денег у вас нет! На книги, на барахло — есть. А на мотороллер — нет!

— Книги не барахло, — сказал Чесноков.

— Ну зачем вам столько книг?

— А зачем тебе мотороллер?

— Да хотя бы в лес съездить. В автобусе не надо толкаться. Захотел — съездил. В любой момент.

— Так же и книги. Захотел — взял с полки и прочитал.

— Ну прочитал раз, и хватит. Да и в библиотеке можно взять.

— Можно ездить на такси. К чему мотороллер?

Кондратюк даже опешил:

— На мотороллере я буду ездить. Он окупается. А у вас эта макулатура стоит без пользы. Зачем?

— Это не макулатура. Это люди, друзья. Верные — и на всю жизнь.

— Врете вы! Интеллектуалами хотите казаться! Что-бы зашли к вам в квартиру и первым делом увидели полки с книгами. Вот, дескать, умные люди живут. Сервант с посудой в угол, значит, а книжки на видное место... Знайте все, что мы выше соседа! Он купил мотороллер, а книг не покупает! Писаки гонорары задарма получают. Землю бы всех копать заставить!

— Это ты переборщил, — начали успокаивать Кондратюка.

— Подумаешь! — орал хозяин. — Я тоже книжный шкаф заведу!

— Кур заводят, — сказал Чесноков.

— Вот мотоцикл куплю, а потом книг полный шкаф наставлю, чтобы все знали, что я тоже не дурак.

— Ну нет! — заорал Чесноков и даже ударил кулаком по столу. — Я тебе не дам книги покупать. Не позволю! Там люди, мысли. И чтобы их в твой шкаф-гроб? Да они там зачахнут, с ума сойдут, умрут. Не позволю!

— Пойдем домой, Володя, — сказала Анечка.

Анечка тянула Чеснокова за рукав. Кондратюка держали за пиджак, а он все порывался броситься вруклопашную.

Чесноков проснулся на другой день с пакостным привкусом во рту. Голова хоть, слава богу, не болела. Анечка только сказала:

— Как ты мог затеять с ним этот разговор?

— Разве я начал? — оправдывался Чесноков.

На площадке он встретился с Кондратюком. Было как-то неловко за вчерашнее, и он спросил:

— Э-э, Вениамин, как у тебя мотороллер?

— Спасибо, ничего, — ответил Кондратюк. Он тоже не совсем уверенно чувствовал себя после вчерашнего разговора. — А ты, Владимир, дал бы мне что-нибудь почитать. А? Чтоб за душу взяло!

— Такого у меня нет, да и вряд ли где найдется, — ответил Чесноков, но Кондратюк не понял иронии.

— Ну, что-нибудь там современное. Что в этом году на соискание Государственной премии выдвинуто?

Они прикурили от одной спички и вместе вышли из подъезда. Работали они на одном заводе, в одном отделе.

С неделю Чесноков просил Анечку даже не упоминать о стихах и литературе вообще.

Потом отошел.

4

Через три месяца было готово около тридцати стихотворений. Чесноков отдал их перепечатать машинистке, работавшей на дому. При этом он страшно волновался, назвался чужим именем, конфузился. И когда наконец все было отпечатано, облегченно вздохнул. Однажды в пятницу, после работы, он надел белоснежную рубашку, черный костюм, нацепил синтетический галстук, поцеловал Анечку и направился в редакцию.

Особенно не размышляя, он прошел прямо к редактору. Но редактор был не в духе. Его никак не освобождали от работы в молодежной газете. Про единственный визит Чеснокова он, конечно, забыл и теперь

взвинченно и недружелюбно попросил его выйти вон. Чесноков, ничего толком не понимая, — ведь его просили прийти через три месяца! — выскочил в коридор и, собравшись с мыслями, решил все бросить и идти домой. Редактору, который, в общем-то, был хорошим и добрым человеком, стало стыдно оттого, что он ни с того ни с сего наорал на незнакомого человека. И через несколько секунд он тоже был в коридоре. Чесноков еще не ушел. Редактор облегченно вздохнул.

— Молодой человек, что, собственно, у вас?

Чесноков вкратце напомнил о своем первом визите и, смущаясь, достал пачку листов. Редактор повел его в отдел поэзии к Пионову. Там они мирно побеседовали. Чесноков оставил свои стихи. Пионов мельком взглянул на них и сказал:

— А тут что-то есть... — и записал телефон и адрес Чеснокова, обещая позвонить на будущей неделе.

Прошло четыре дня, и Пионов действительно позвонил. Он просил Чеснокова немедленно прийти в редакцию. Дело очень важное и срочное.

Чесноков отпросился с работы и кинулся в редакцию. Если они решили отказать, то незачем было бы и вызывать его, думал он. Наверное, напечатают.

Из проходной завода он выскочил радостный и чуть ли не пел во весь голос, но, подходя к редакции, сник и начал волноваться.

Пионов встретил его довольно дружелюбно, усадил в кресло, предложил сигарету и несколько минут молча рассматривал Чеснокова, делая вид, что роется в бумагах на столе.

Молчал и Чесноков.

— Я прочел ваши стихи, — сказал наконец Пионов. — И нисколько не преувеличу, если скажу, что написаны они здорово.

У Чеснокова почему-то упало сердце.

— Я сам поэт, — продолжал Пионов. — Скоро в Западно-Сибирском издательстве выйдет мой сборничек. Я знаю, что говорю. Написано у вас талантливо. Когда вы их написали?

— С июня по август, — внутренне холодея, ответил Чесноков. Что-то в голосе Пионова говорило ему, что со стихами дело дрянь. Не напечатают. Ни при каких условиях не напечатают. — Три месяца. Недели две как закончил.

— А как бы вы назвали весь цикл, если бы это понадобилось?

В небольшой комнате клубами висел дым. Кто-то пытался знаками вызвать Пионова в коридор, но тот только крикнул: «Закройте дверь! Занят я, не видите, что ли?»

— Я назвал бы его «Удивление».

— Странно, — прошептал Пионов. — Очень странно.

— А что случилось? — спросил Чесноков.

— Вы никому не показывали свои стихи? — не отвечая на вопрос, в свою очередь, спросил Пионов. — Другьям? Знакомым?

— Нет. Мне и в голову не приходило.

— Странно. А слышать или видеть их раньше у кого-нибудь... Впрочем, расскажу все. Меня, как я уже говорил, взволновали ваши стихи. Я сделал подборку. У нас есть такая рубрика — «Молодые голоса». Тимофей Федорович тоже одобрил. И тут к нам зашел Серегин. Знаете такого поэта? Нашего, сибирского?

— Знаю, — кивнул головой Чесноков. — Читал.

— Он у нас бывает часто. Читает все, что мы готовим в набор. Правит иногда. Он прочел ваши стихи и сказал... что это его стихи... Вот так.

— Как его? — одними губами спросил Чесноков.

— Он будет здесь с минуты на минуту. Я пригласил его. Понимаете, редакция должна разобраться. Мы не имеем права попадать в глупое положение.

— Это мои стихи, — прошептал Чесноков.

— И поэт-то он так себе, бездарность, — словно не слыша Чеснокова, сказал Пионов. — А вот поди ж ты, выпустил уже четыре книжки. Все серость невероятная. А тут сразу такой фейерверк... Он уже отослал рукопись в издательство. И там ее приняли. И название то же — «Удивление». Понимаете, какая петрушка получается?

Пионов встал из-за стола и принялся расхаживать по комнате, постукивая кулаком в раскрытую ладонь и что-то рассеянно напевая.

— Насколько я понимаю, — сказал вдруг осевшим голосом Чесноков, — меня обвиняют в воровстве...

— Что вы, что вы! — заволновался Пионов. — Я никого не обвиняю. Редакция просто должна разобраться. И кроме того... Серегин уже признанный поэт. У него летом, по его словам, был приступ вдохновения.

— Это мои стихи, — твердо сказал Чесноков.

Дверь отворилась, и в комнату уверенно, как в собственную квартиру, вошел человек средних лет с портфелем.

— Привет, Гриша, — привычно приветствовал он Пионова. — Сергей Серегин, — протянул он руку Чеснокову. Тот неуклюже поднялся, держась одной рукой за спинку кресла:

— Чесноков.

— Вот как! Лю-бо-пыт-но!

На протяжении последующих пятнадцати минут Чесноков молчал. Говорил Серегин. Он бросил на стол кипу листов, исписанных чернилами и отпечатанных на машинке, и начал подробно рассказывать о том, как на

него после полугодового перерыва снизошло вдохновение, как им овладела радость поэтических открытий, уверенность, что он оставит важную веху в поэзии.

— Вот, все тут. Адский труд, бессонные ночи, тонны бумаги. На каждом листе дата. Можно проследить, как рождались эти стихи. К счастью, я не уничтожаю черновиков. Вот доказательства, что это все мое. В издательстве почти приняли. Скоро договор... И в Союз писателей не сегодня-завтра примут. А у вас, у вас есть черновики с датами?

— Черновики у Анечки, — сказал Чесноков.

— У Анечкина? — насторожился Серегин. — Не знаю такого.

— У Анечки! — заорал Чесноков. — У моей жены! В голове! Понимаете?

— Так, так, так. Понимаю, — радостно проговорил Серегин. — Значит, черновиков нет? И что же вас заставило...

— Во всяком случае, не веха...

— Какая веха?

— Важная веха в поэзии. Вы же сами это сказали. Я писал, потому что не мог не писать.

В комнату вошел редактор и скромненько устроился в углу на трехногом стуле.

— Что же делать? — с нескрываемым отчаянием в голосе спросил Пионов.

— Во всяком случае, в газете ничего не помещать, — подсказал Серегин.

— Это и так ясно, — буркнул Пионов. — Дальше что?

— Плагиат! Я этого так не оставлю. Я судиться буду!

— А вы будете отстаивать свои права? — спросил Пионов у Чеснокова.

— Судиться, что ли? — ответил Чесноков. — Вряд ли. Ведь у меня нет черновиков.

«Эх, бедняга, — подумал редактор. — Не в черновиках дело. В человеке».

— Я вам заявляю со всей ответственностью! — неизвестно к кому обращаясь, кричал Серегин.

Чесноков неуклюже встал, пробормотал: «До свиданья!» И пошел к выходу.

— Вы уходите? — крикнул ему Пионов. — Приносите еще что-нибудь. Можно и по одному стихотворению.

— Я застолбил этот участок поэзии и никому не позволю! — все еще кричал Серегин.

«О-хо-хо, — подумал главный редактор. — Не в поэзии, а под солнышком, чтоб теплее и сытнее, ты хочешь застолбить участок. И не попрешь тебя. По судам затаскаешь!»

— Вы заходите, Владимир, — еще раз крикнул Пионов.

Чесноков осторожно прикрыл дверь и, сгорбившись, вышел на улицу.

5

Моросил дождь. Сентябрь. Пакостно на душе.

Чесноков побродил в Университетской роще, стараясь ни о чем не думать. Небо вскоре прояснилось. В сентябре дожди еще не идут неделями.

Когда он открыл дверь квартиры, Анечка была уже дома. И как он ни старался казаться спокойным, она сразу же заметила, что произошло что-то нехорошее. Она умоляюще взглянула на него, но он только покачал головой, и тогда она не стала его ни о чем спрашивать. Он сам подошел к ней, погладил волосы, приподнял ее

голову за подбородок, грустно улыбнулся и все рассказал. Она ни разу не перебила его вопросом, только глаза ее то расширялись, то сужались.

— Но ведь ты же не думаешь, что он каким-то образом присвоил твои стихи? — спросила она, когда он закончил. И голос ее был чуть-чуть испуганным.

— Конечно, нет, Анечка, — ответил он. — Это просто нелепое совпадение. Грустно.

И тогда она заплакала, а он не просил ее успокоиться — знал, что этого нельзя делать.

В дверь позвонили. Это оказался сосед Кондратюк.

— Мне бы рублишко разменять, — сказал он.

— Проходи, — предложил Чесноков.

Кондратюк прошел в комнату, увидел заплаканное лицо Ани и спросил:

— Что тут у вас происходит? Похороны, что ли?

Чесноков не умел лгать и в двух словах рассказал соседу о случившемся.

— О, да ты, оказывается, в поэты метишь!

— Никуда я не мечу, — ответил Чесноков.

— Не скромничай, не скромничай. При, если возможность есть. Там платят здорово. Вот поэтому туда все и лезут.

— Не все.

— Все, все. А вакансий мало. Вот и тащат друг у друга, кто стих, а кто и роман. И у тебя сперли. Судись, мой тебе совет. Может, что и возьмешь. А лучше купи мотороллер. Колеса, они, знаешь, всегда себя оправдают. Я уже рублей на двести малины, смородины и прочей дребедени навозил.

— Продаешь, что ли?

— Не-ет! Возни много. Увидят свои сотрудники со стаканом на базаре, засмеют. Я люблю, чтоб все было спокойно, тихо. Жена на зиму варит. С братом мы: он —

сахар, а я — ягоду. Колеса — это вещь. Бери зимой в кредит. За лето оправдаешь. Дело надежное.

— Вениамин, у тебя, кажется, мотороллер спереть кто-то хочет. Слышь, заводят.

Кондратюк прислушался, вытянув шею, и опрометью бросился к двери, забыв разменять рубль.

— Володя, ты хочешь есть? — спросила Аня.

— Как зверь, — ответил Чесноков. — Сто лет не ел. — И засмеялся.

Аня подозрительно посмотрела на него и тоже засмеялась.

— Тогда садись.

Она загремела тарелками. В дверь снова позвонили. Это опять оказался Кондратюк.

— Целый, — сказал он, ухмыляясь, — у меня не сопрут. У меня запоры, знаешь, какие!

Он вдруг недоуменно пожал плечами и спросил:

— У вас что, свадьба уже или именины? Чего смее-тесь?

— Есть хочу, Вениамин, — сказал Чесноков. — Ты знаешь, так есть хочу, терпенья нет.

— А-а-а! — недоверчиво протянул Кондратюк. — Тогда понятно. Ну так как с рублишком-то?

Кондратюк ушел довольный. Рубль разменял. Мотороллер цел. Что еще надо?

— Володя, — сказала Аня, когда они ложились спать, — я ведь знаю, ты еще много напишешь.

— Много, очень много, — ответил он.

И все же после этого случая Чесноков как-то сник. Все-таки было очень неприятно. Дело даже не в том, что скоро выйдет его сборник под чужой фамилией, и уж, конечно, не в том, что кто-то другой получит за него гонорар. Просто Серегин не мог написать такие стихи. Чесноков это чувствовал. Одно дело писать стихи,

чтобы глаза любимой женщины превращались в радостное удивление, другое — чтобы застолбить и оставить веху.

Совпадение? Конечно. Не украл же их Серегин! Но почему именно он? Чеснокову было бы легче, если бы это был кто-нибудь другой. Пусть Пионов или сам редактор газеты. Правда, редактор стихов не писал.

Чесноков принялся за домашние работы. Нужно было отремонтировать квартиру. Он работал с каким-то остервенением, с грохотом обдирая полубовалившуюся штукатурку с потолка, вырывал «с мясом» гвозди из разошедшегося пола, выпивал за вечер по три литра кваса и орал во все горло арии из популярных оперетт.

— Вовка, — говорила Аня, — учти, что на самом деле ты не такой. Ну что ты напускаешь на себя?!

— Я такой, я сякой, — речитативом тянул Чесноков. — Я всякий.

— Неправда. У тебя сейчас в душе злость. На кого? Зачем?

Чесноков, не отвечая, с одного удара вгонял гвоздь в доску по самую шляпку.

Однажды он, отчаянно фальшивя, запел: «Здоров ли, князь? Что призадумался?»

Аня в слезах вбежала в комнату и закричала:

— Струсил! Расписался! Никакое это не совпадение. Ты думаешь, что он у тебя украл стихи! Поэтому и бешишься!

— Нет. Я этого не думаю. А вообще, конечно, и противно на душе, и обидно. Скоро перегорит и забудется. Хочешь новые стихи? Прямо из печки! Хочешь?

— Хочу, — сказала Аня и вытерла глаза грязными ладонями.

Всего восемь сгрок, грубо вырубленных из твердого камня.

Аня поняла, что Вовка отошел, ожил.

А через две недели он встретил эти стихи в «Литературной газете». Подписал стихи какой-то неизвестный Чеснокову поэт.

Чесноков даже не удивился, не стал разыгрывать из себя обиженного и тяжело переживающего удары судьбы человека. Он просто перестал записывать свои стихи, не старался их запомнить, а просто длинными зимними вечерами импровизировал перед единственной своей слушательницей — Анечкой. Он был неважным чтецом. Со сцены его, быть может, никто и не стал бы слушать. А зря... Нужно только поверить ему, понять, что мир, рождающийся в его стихах, реален, несмотря на всю его фантастичность.

Анечка верила ему и понимала его.

Если бы Кондратюк присутствовал на этих вечерних чтениях, он наверняка удивился бы и сказал:

— Вот прет из тебя, Чесноков! Прямо стихами прет! Только записывай и переводы в валюту. Мотороллер ку...

Но Кондратюк никогда не слышал стихов Чеснокова — ведь это не окупалось, а значит, не имело смысла. Да и в его присутствии стихи Чеснокова рассыпались бы ворохом беззащитных слов, робких, неуклюжих, смешных.

Анечка тайком записывала те строки, которые успевала запомнить, а память у нее была отличная. Пачка пухла из месяца в месяц. Чесноков знал, что жена пытается «сохранить для потомков» его творения, но ему не приходило в голову запретить ей это. Никогда он не просил у нее прочитать их. Зачем читать черновики? Он мог встретить все свои стихи в газетах, журналах, сборниках. Правда, всегда под чужими и разными фамилиями... Ну и что же?

Несколько раз Чеснокову на работу звонил Пионов

и просил принести что-нибудь новенькое. Но Чесноков отказывался под разными предлогами. В первый раз он сказал, что бросил писать, но Пионов ему не поверил:

— Это теперь от тебя не зависит: бросить или не бросить. Они будут сами рождаться в твоей голове. И ты тут уж ничего не поделаешь.

В следующий раз Чесноков ответил, что нет ничего значительного. Потом — что у него нет времени. И это было правдой, потому что группа, где работал Владимир, как раз заканчивала тему. И в последний раз Чесноков сказал только одну фразу:

— Повторяется все та же история, — и повесил трубку.

Пионов позвонил еще раз и попросил разрешения прийти к Чеснокову домой. У Чеснокова не было причин отказывать, и он назначил время, но совершенно неожиданно уехал в командировку.

А Пионов все-таки пришел. Анечка была дома. Пионов представился, а узнав, что Чесноков уехал, даже обрадовался.

С полчаса они говорили о поэзии, выяснили, что им нравятся одни и те же поэты. Как бы невзначай Пионов спросил, продолжает ли Чесноков писать стихи. Анечка молча показала ему пачку листов и рассказала, что она записывает это тайком от Владимира.

— Все это уже было в газетах и журналах, — сказала Анечка. — Просто ужас какой-то!

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Пионов. — Вы разрешите мне это посмотреть?

Анечка разрешила. Пионов наскоро перелистал страницы, заполненные четким почерком.

— Я это тоже уже читал, — сказал он наконец.

— Ну вот видите, — грустно сказала Анечка. — Вся трагедия в том, что он не может не писать, даже если

захочет этого. Будет молчать днем, ночью во сне выговорится.

— Да, да, да! А вы могли бы дать мне эти стихи на несколько дней?

— Пожалуйста, возьмите. Только я бы не хотела, чтобы узнал Володя.

— И напрасно. Надо показать ему это. Я сам покажу, а вы уж не отказывайтесь, что записывали. Может быть, ему так будет лучше.

Аня напоила Пионова чаем с медом, а он поставил ей на газовую плиту бак со стиркой. Ей этого уже нельзя было делать самой. Аня ждала ребенка. Перед уходом Пионов заволновался — как же она снимет бак, и не успокоился до тех пор, пока не договорился с соседом, что тот поможет. Это оказался Кондратюк. Он был так рад познакомиться с представителем прессы! Как же, он знает, знает, что и Чесноков причастен к литературе. Нет, нет, не читал, но еще надеется когда-нибудь прочесть. Вот если бы было лето, он отвез бы товарища представителя прессы домой на мотороллере.

Добрая и отзывчивая душа был этот Кондратюк.

6

Когда Чесноков вернулся из командировки, Анечка все ему рассказала.

— Ерунда это, — сказал Чесноков. — Записывать тут нечего. Слушай уж ты мои стихи одна. Гордись хотя бы тем, что раньше всех можешь познакомиться с ними.

Но Пионова, видимо, здорово заинтересовала эта история. Вскоре он снова пришел к Чесноковым и притащил с собой стареющего редактора молодежной газеты Тимофея Федоровича. Услышав шум, прибежал и Вениа-

мин Кондратюк. Пионову не хотелось высказывать свои соображения, причем совершенно фантастические, при посторонних, но Кондратюк отрекомендовался редактору лучшим другом семьи Чесноковых, к тому же соседом. И Пионову пришлось терпеть.

Разговор долгое время вертелся вокруг да около. Редактор уже был вынужден согласиться, что «паннония» для дорог Сибири барахло по сравнению с «Уралом». Чесноков был вообще не особенно рад этому посещению.

Наконец Тимофей Федорович отодвинул чашку и сказал:

— Все! Спасибо! Не могу больше!

Пионов тоже облегченно вздохнул, потянулся за своим объемистым портфелем, раскрыл его и вытащил толстую пачку листов, газетных вырезок и небольших книжечек. Кондратюк поспешно сгреб посуду на край стола, а Анечка унесла ее на кухню. Все расселись вокруг стола, серьезные и сосредоточенные, как на важном заседании.

— Владимир, — начал Пионов. — Может быть, то, что ты сейчас услышишь, для тебя будет немного неприятно.

Чесноков махнул рукой: «Валяйте».

— Тот случай с Сергеем Сергиным все никак не выходил у меня из головы, — продолжил Пионов. — Я тщательно просмотрел то, что он написал раньше и после этого. Я тогда говорил, что последний сборник Сергина отличается от всего, что он написал, как небо от земли. Это же действительно явление в поэзии. Никто так не писал раньше. Вспомните Маяковского. Ведь ни до, ни после него никто так не пишет.

— Писали, Григорий, как же! Только не получалось, — вставил редактор.

— Вот именно. Ничего толкового не получалось. А у Маяковского получалось.

— Ну и что? — страшным шепотом спросил Кондратюк.

— А то, что бездари и кустари все похожи друг на друга, а талант не похож ни на кого.

— Талант! — холодея перед какой-то страшной тайной, прошептал Кондратюк.

— Сборник под названием «Удивление», который выпустил Серегин, — это Грин в поэзии. Не успел он выйти в свет, как о нем заговорили. Вы бы отличили рассказы Александра Грина от рассказов других авторов? — спросил Пионов, обращаясь к Кондратюку.

Кондратюк смутился. Некогда было ему читать Грина. То мотороллер, то грибной сезон, то ягодный. Зимой и то передохнуть некогда.

— Ну да ладно, — вздохнул Пионов. — Не в этом дело. Вот три стихотворения из «Юности», одиннадцатый номер за прошлый год. — Пионов нашел журнал в куче бумаг и прихлопнул его ладонью. — Читали?

Чесноков потянулся за папиросами.

— Понимаю, — сказал Пионов. — Неприятно. Я видел эти стихи в черновиках, которые записывает ваша жена Аня. Стиль, образ мышления, способность видеть мир не так, чуть-чуть не так, как все... Удивление, это все то же удивление! Мир потихоньку разучивается удивляться. Чем можно удивить человека? Полетом на Марс? Африкой? Узенькой полоской зари на восходе солнца? Или, быть может, музыкой, детской улыбкой? Чем?

— Вот это правильно! — восторженно произнес Кондратюк.

— Нет, неправильно. Все это еще удивляет, но как-то вяло, однобоко. Удивляет обычно. Представляете себе —

обычное удивление? Обычное удивление! Разве удивление может быть обычным? На то оно и удивление, чтобы быть необычным.

Чесноков сидел с таким видом, словно все это его не касалось.

— А в стихах все иначе, чем у других.

— Он и на самом деле такой, — сказала Анечка и смутилась. — Какой в жизни, такой и в стихах.

«Господи, — подумал редактор, — что за счастливая женщина!»

— А стихи подписываются чужими фамилиями. Я их все собрал. Вот посмотрите. Это твои стихи, Владимир?

— Я знаю, — тихо сказал Чесноков. — Я их все читал.

— Я сначала собрал их все вместе и лишь потом пришел к вам в надежде, что увижу здесь хотя бы черновики. Я не ошибся. Они все здесь.

— Не все, — сказал Чесноков. — Последние я не читал даже Анечке.

— Вот эти?

— Да.

— И вот стихийно возникло общество поэтов, которые написали «ваши» стихи. Они как-то нашли, отыскиали друг друга. Их человек десять. А Серегина они избрали своим председателем.

— Я все это знаю, — спокойно и с расстановкой произнес Чесноков. — Ничем вам полезным быть не могу.

— У меня предположение, — сказал Пионов. — Совершенно фантастическое. Может быть, это действительно не вы пишете. — Пионов машинально перешел на «вы». — Может быть, пишут действительно другие? А ваш мозг так точно и определенно настроен на определенное настроение, что мгновенно воспринимает их.

И никак нельзя доказать, что они возникают у вас первого.

Анечка закусил губу.

— Телепатия! — покрываясь холодным потом, выдал из себя Кондратюк.

— Да, да. Нет! При чем тут телепатия? Не в этом дело.

— Ну что ж! — сказал Чесноков. — Спасибо вам за хлопоты. Все-таки участие.

— В том-то и дело, — пожалуй, впервые за все это время открыл рот редактор молодежной газеты, — что все это ерунда.

— Нет никакой телепатии, — облегченно вздохнул Кондратюк. — Я слышал.

— Почему для всех этих поэтов, — редактор дотронулся кончиками пальцев до кипы бумаг, — именно эти стихи являются исключением из их творчества?

— Да, да, — поддержал его Пионов. — Напишет одно, два, стихотворения или, как Серегин, целый сборник, а ни до, ни после этого ничего похожего больше нет. Зато появляется у другого. И снова как явное исключение. А у тебя ведь это система. Ничего нельзя спутать. Так, может быть, это они каким-то чудом, непосредственно из мозга в мозг воспринимают твои стихи? И эти стихи действительно твои?! Понимаешь, это твои стихи! — Пионов, довольный, откинулся на спинку стула и оглядел всех торжествующим взглядом.

— Но это никак нельзя доказать, — сказал Тимофей Федорович. — К сожалению.

— А зачем доказывать? — спросил Чесноков.

— Нет, можно, — возразил Пионов. — Трудно, но можно. Теоретически можно, если знать, у кого они возникнут в голове. Какая-то разница во времени должна быть. Предположим, у него, у этого человека, вечером

чернила кончились или бумага. Нечем записывать. А утром дела наваливаются, не передохнешь. Вот тебе и разница во времени. Ты-то успел записать. Причем разница всегда должна быть в твою пользу.

— Что же мне, всегда пузырек с чернилами открытым держать по этому поводу? — усмехнулся Чесноков.

— Это действительно смешно, — сказала Аня.

— Надо общественность на ноги поставить, — посоветовал Кондратюк. — Общественность, она все может.

— Тут хоть на голову всю общественность ставь, — вздохнул Тимофей Федорович.

— В таком случае надо писать в «Технику — молодежи», — снова подсказал Кондратюк. — Там и не такое еще пишут.

— Нет, нет, — сказал редактор. — Тут даже сдвиг во времени не поможет. Что такое день, два? А если попадется такой человек, как Серегин? Кроме всего прочего, у него амбиция, голос хорошо поставлен, а эрудит какой по охране прав автора! Попробовать, конечно, можно. Мы, собственно, решили напечатать несколько ваших стихотворений, а там будь что будет. Все ближе к чему-то определенному.

— Да, да, Владимир, подборка стихов за тобой.

— Уговорили все-таки, — обрадовался Кондратюк. Эта история разжалобила его. У него даже появилось желание помочь соседу. Чего он бьется впустую! Но как?

— «Уговорили» тут ни при чем, — отрезал редактор. — Просто это наше решение.

— Я не отказываюсь, — устало сказал Чесноков. Он был явно расстроен. Жена незаметно взяла его руку и погладила — осторожно, чуть-чуть.

— Мы искренне верим, что это ваши стихи. И должны они печататься под вашей фамилией, — твердо сказал Тимофей Федорович.

— Теперь я не уверен в этом.

Гости разошлись поздно. Кондратюк недоумевал. Счастье само лезет человеку в руки, а он отказывается. В то, что Чесноков пишет здорово, Кондратюк поверил. Не зря же к нему приходят такие люди! При расставании Пионов поклялся, что напишет статью. Он еще не знает куда, но напишет. А Тимофей Федорович по обыкновению ничего не сказал, лишь подумал про Чесноковых: «Ведь трудно людям. Но почему в их квартире ощущение счастья?»

7

Чесноков ничего не дал в газету. А Пионов все-таки написал толковую статью, в которой подробно изложил все факты, касающиеся загадочного явления и судьбы никому не известного талантливому поэту. Статья была отправлена в «Литературную Россию». Через несколько месяцев пришел ответ, в котором сообщалось, что газета очень редко печатает научную фантастику и в настоящее время не находит возможным опубликовать рассказ. Пионов страшно расстроился, написал в газету резкое письмо, но ответа не получил. И все же он надеялся когда-нибудь доказать свою правоту и восстановить в правах Чеснокова.

Раза два-три в год он заходил к Чесноковым в гости, но все реже и реже просил Владимира дать что-нибудь в газету. А потом его перевели на работу в Москву, в одну из центральных газет.

У Чеснокова родился сын, потом сын и дочка.хлопот с малышами было очень много. К этому времени у Чеснокова набралось бы десятка два сборников стихов, если бы их удалось собрать вместе.

Свой первый рассказ Чесноков написал, когда старшему, тогда единственному, сыну исполнилось три месяца. И с этого времени писал стихи все реже и реже. И все больше его тянуло к прозе. Сначала небольшие, грустные, но с тонким юмором рассказы. Потом большие, серьезные. А однажды он рискнул написать повесть. И снова он встречал их в журналах и сборниках под чужими фамилиями. Стихийно возникшее общество поэтов «Удивление» постепенно распалось, потому что все реже и реже стали появляться в печати стихи соответствующего стиля и содержания.

Так кто же все-таки писал эти стихи и рассказы? Пионов так ничего и не мог доказать. Он был уверен, что все это принадлежит Чеснокову, но требовались точные доказательства. А сам Чесноков? Конечно, ему было грустно сознавать, что кто-то мгновенно воспринимает его творения и выдает за свои, нисколько в этом не сомневаясь. Но еще хуже было бы, окажись, что сам Чесноков просто-напросто способен мгновенно воспринимать стихи и рассказы разных авторов, созвучные его настроению. Он много думал об этом, особенно после памятного разговора с Пионовым и Тимофеем Федоровичем. Пришел ли он к какому-нибудь выводу? Пришел. Он был твердо уверен, что пишет именно он. Но это еще не давало ему оснований посылать рукописи в издательства и редакции.

Время шло своим чередом. Чесноков уже руководил небольшой лабораторией, а Кондратюк стал начальником крупного отдела. Оба они не привыкли относиться к работе спустя рукава, а это означало, что нередко им приходилось технические проблемы своих разработок решать в нерабочее время.

Кондратюк проникся к Чеснокову каким-то странным уважением. Лезет человек на отвесную стену, выбивается

из сил, падает, снова лезет. А зачем? Ведь на вершине горы все равно ничего нет. Нет ни золотых россыпей, ни красивого цветочка, даже панораму гор и долин оттуда не увидишь, потому что сама вершина вечно скрыта в тумане. И все-таки человек продолжает восхождение. И это непонятное упорство невольно вызывает уважение и страх. А если бы это был он, Кондратюк? Хорошо, что это не он!

Вениамин Кондратюк даже взял нечто вроде шефства над Чесноковыми. В летние воскресные дни предлагал свой автомобиль, чтобы выехать на лоно природы, приглашал на дачу.

Иногда Чесноковы принимали приглашения. Кондратюк был искренне рад. Людям приятно — значит, и автомобиль, и дача оправдывают себя. Не зря деньги вбиты в это дело.

Но чаще Чесноковы отказывались. Впятером шли они по проселкам и тропинкам пригородных лесов Усть-Манска. Старший сын уже мог тащить небольшой рюкзак, а младшие в основном ехали на не очень широких папиных плечах, пока впереди не показывался пустынный берег ручья или речушки. Они уходили недалеко от города, но видели очень многое. Станный талант Чеснокова помогал им видеть все не так, как обычно. И от этого становилось странно на душе, и хотелось летать, и плакать оттого, что летать не можешь.

Может быть, Чесноков и бросил бы писать, если бы хоть раз Анечка, слушая его, прикрыла скучный зевок ленивой ладонью. Но этого не случилось. Ей было интересно. И так же, как десять лет назад, с замирающим сердцем слушала она о том, какой странный, удивительный, радостный и грустный, счастливый и горький мир окружает их. Он всегда был разный. А разве можно скучать, когда тебя все время окружает разное и новое?

Зевают от скуки, когда все уже давным-давно известно и ничего нового в будущем не предвидится.

Он писал, потому что и ему и его жене Анечке, теперь уже Анне, это было интересно.

Однажды Чесноков неопровержимо доказал, что пишет именно он. Еще раньше Пионов обращал внимание на то, что необычные стихи выпадают из творчества некоторых поэтов, а для Чеснокова они являются системой. Нужно было только доказать, у кого они появляются раньше.

Чесноков начал новую повесть из жизни инженеров. Она была задумана в виде трех рассказов, от лица трех главных действующих лиц. Повесть писалась легко. Чесноков вообще писал легко. Была уже закончена первая и начата вторая часть. Как обычно, просматривая в библиотеке новые поступления, Владимир встретил первую часть повести в одном журнале. Это было настолько привычным, что не удивило ни его, ни Анну.

В тот год была ранняя весна. Днем снег таял, а утром подмораживало. Чесноков шел на работу, поскользнулся и сломал руку. Бывает же такое невезение! Его положили в больницу, но кисть руки долго не срасталась. Вдобавок ко всему обнаружилось повреждение позвоночника. Короче говоря, Чесноков проболтался в больнице месяца три. Писать он не мог, но зато читать сколько угодно. Как-то на глаза ему попался журнал с первой частью повести, и он обратил внимание на сообщение редакции о том, что в следующем номере будет напечатана вторая часть. Это его заинтересовало. Ведь он так и не успел написать вторую часть. Чесноков разыскал следующий номер. Продолжения в нем не оказалось. И в третьем номере он не нашел ничего. Зато в журнале появилось редакционное сообщение: по не зависящим от

редакции причинам публикация повести откладывается на неопределенное время.

И тогда Чесноков послал автору телеграмму, в которой советовал или расторгнуть договор с издательством, или изменить сроки публикации, потому что он, Чесноков, в настоящее время не может заняться этой повестью.

Автор телеграмму получил, хотел ответить Чеснокову чем-нибудь ядовито-ехидным, но передумал. Мало ли у любого писателя недоброжелателей! Со всеми не будешь вести переписку. А повесть у него действительно застыла. Ни слова. В голову лезла всякая ерунда, но только не то, что нужно. Он уже несколько раз ходил на завод, чтобы посмотреть, как работают инженеры. Сам он никогда инженером не был. И все равно ничего не получалось. И редакция уже надоела своими звонками. Ну где он возьмет продолжение, если вдохновение пропало!

А Чесноков неожиданно для самого себя написал автору письмо, в котором просил его сообщить сроки, когда он начал и закончил вторую и третью части. К этому времени Чесноков уже вышел из больницы и за две недели закончил вторую часть.

И на автора повести вдруг нашло вдохновение, да причем такое, что он закончил вторую часть точно за две недели. На радостях он написал Чеснокову пространное письмо о том, когда и как он написал вторую часть повести. Благожелательным читателям надо иногда отвечать.

Теперь Чесноков твердо знал, что пишет все-таки он сам. У него даже возникло желание подшутить над автором повести и совсем не писать третью часть. Но, немного поразмыслив, он решил, что незачем издеваться

над человеком — ведь он, в общем-то, ни в чем не виноват.

Судя по критическим статьям, рецензиям и заметкам, Чесноков был талантливым писателем. От Кондратюка, как от старого друга семьи, у Чесноковых не было тайн. И Кондратюк был чрезвычайно обрадован, когда узнал, что сосед доказал свое первенство. Значит, если рассказы начнут печатать под настоящей фамилией, Чесноков лез в гору не зря, а потому что там материальное благополучие, добытое честным трудом, которое Кондратюк ценил превыше всего.

У Чеснокова не было никаких связей в литературных кругах, да и времени, чтобы обивать пороги, у него не было. Иногда он встречал Тимофея Федоровича. Тот все еще продолжал работать редактором молодежной газеты и по-прежнему убедительно доказывал, что надо бы его перевести на другую работу. Но эти встречи были случайными и короткими.

И Чесноков продолжал писать, пожалуй, даже с большим желанием, чем раньше. Не ставят его фамилию на обложке романа? Черт с ними! И не поставят никогда? Уже привык к этому. Главное, что его повести и романы нравились. Люди в них находили то, что тщетно искали в произведениях других авторов. И еще — его романы были все так же чуточку чудными, необычными, в них все еще сквозило удивление. Чесноков не переставал удивляться миру и людям.

8

Поведение Чеснокова начало раздражать Кондратюка. Не воруй, не обманывай, живи честно! Все это правильно. Кондратюк никогда в жизни не совершил ни од-

ного нехорошего поступка. Не крал, не обманывал. Своими руками, своим собственным горбом он приобрел и автомобиль, и дачу, и кооперативную квартиру одному из сыновей. Гнул шею, если этого требовали обстоятельства, и в выходные дни, и в отпуск. Но ведь это приносило пользу, окупалось, было необходимым. Если бы кто-нибудь попытался отнять у него выходной костюм или сломать изгородь на даче, разве бы он не впился своими руками в горло обидчику, разве не бил бы его смертным боем?! Мое! Не трожь! Заработай сам!

А Чесноков отдавал все добровольно. И Черное море, и яхты, и поездки за границу, и деньги, и славу. Кому? А кто подвернется. Чеснокову все равно. А ведь все, все принадлежало Чеснокову. По закону, по праву.

Кондратюк чувствовал, как рушится его спокойный, понятный, обычный мир. Оба его сына пропадали целыми вечерами у Чесноковых. И для них не было большего авторитета, чем дядя Володя. Непорядок! И его жена, тихая, незаметная женщина, никогда не решавшаяся высказать свое мнение вслух, вдруг зачастила к соседям, перестала смотреть в пол, подняла голову, хотя и теперь никогда не противоречила мужу. Да и сам Кондратюк был частым гостем у Чесноковых. Там всегда было шумно. Людям почему-то нравилось бывать в этой небольшой стандартной квартирке, сплошь заставленной книгами.

А разговоры... Что это были за разговоры! Каждое слово в отдельности было понятно Кондратюку. Но смысл фраз?! Что это? Зачем? Почему жена его ворочается по ночам и не спит, лежит с открытыми мокрыми глазами и улыбается? Почему старший сын ушел из дому? Почему тошно смотреть на сверкающий лаком автомобиль? Почему вокруг пустота?

А все потому, что Чесноков пишет. Зачем пишет?

— Зачем ты пишешь?

— Интересно.

— Какая польза от этого?

Чесноков взял с полки книгу в нарядном переплете.

— Хочу, чтобы такое читали меньше.

— Я читал. Книга интересная.

— Ложь тоже бывает интересная.

А время шло. Дети выросли и разъехались. Анна, теперь уже Анна Ивановна, располнела, но смеялась все так же заразительно весело и все так же любила своего Володьку, теперь уже Владимира Петровича, худого, сутулого и поседевшего.

И все так же весело было в квартире. Даже когда Чесноков оставался один, а Кондратюк приходил к нему, чтобы покурить и помолчать, даже тогда в квартире было что-то удивительное. Кондратюк как бы видел и Анну Ивановну, и свою жену, детей Чеснокова и своих, знакомых и незнакомых людей. Все они хорошо понимали друг друга, спорили и часто не приходили к единому мнению, но все равно стремились сюда. Как они могли здесь очутиться? Ведь все они были далеко. Они хорошо знали друг друга, и только его, Кондратюка, никто не замечал. И, докурив папироску, он молча уходил, чтобы выпить стакан водки и лечь спать. Кругом было тихо и пусто как в гробу.

9

Чеснокову было уже за сорок пять, когда он встретил в последний раз Тимофея Федоровича. Тот так и вышел на пенсию редактором молодежной газеты. Много мыслей и фактов накопилось в его памяти за шестьдесят пять лет. И Тимофей Федорович писал книгу — итог своей долгой жизни.

Сначала они поговорили о погоде. Потом Тимофей Федорович посетовал на постоянные боли в пояснице, а Чесноков пожаловался на боли в сердце. Вспомнили Пионова. Он к этому времени уже был главным редактором толстого журнала.

— Все по-прежнему? — спросил Тимофей Федорович.

— Да, — ответил Чесноков. — Но работать становится все труднее и труднее. Напишу еще один роман, если успею, и все.

— Я тоже заканчиваю шедевр. А что за роман у вас? — полюбопытствовал Тимофей Федорович.

— Хочу назвать его «Зачем жил человек?», — ответил Чесноков.

Тимофей Федорович вдруг остуился на ровном месте и тяжело задышал.

— А у вас? — спросил Чесноков.

— Да так, ерунда, в общем-то. Пустяки.

— Ну, Тимофей Федорович, у вас не могут получиться пустяки. Я вас хорошо знаю.

— Да, да. Конечно. — И Тимофей Федорович перевел разговор на другую тему.

Они еще часик побродили по Университетской роще, поговорили и разошлись.

«Вот и моя очередь пришла, — подумал Тимофей Федорович. — Остается только уничтожить рукопись». Он тоже писал роман под названием «Зачем жил человек?».

Удивительный талант Чеснокова коснулся и его. Больше они не встречались.

10

Чесноков умер в конце осени, когда шли затяжные, нудные дожди и на улице была непролазная слякоть.

Он умер сразу, никого не обременив ни болезнями, ни страданиями.

Чесноков умер.

Кондратюк даже не предполагал, что у Чеснокова столько друзей. Прилетели его дети и дети самого Кондратюка, не появлявшиеся дома годами. Прилетел 'Пионов, вызванный Тимофеем Федоровичем. Люди шли длинной печальной вереницей в квартиру. Несколько часов длилось это прощание.

— Господи, — повторяла Анечка сквозь слезы. — Он совсем не страшный. Он все такой же. Он все такой же.

На лице Чеснокова застыло вечное удивление. Он словно хотел сказать:

— Смерть... Так вот ты, оказывается, какая... странная...

Кондратюк стоял у изголовья гроба. Его покачивало от усталости и выпитой водки. Глаза слезились, руки мелко вздрагивали. Но ему не было жаль Чеснокова. Сейчас он ненавидел его лютой ненавистью. Это он, Чесноков, сделал бессмысленной всю его жизнь, свел на нет его нечеловеческие усилия. Он, проживший такую бессмысленную жизнь, перетянул на свою сторону столько людей. Плачут! И дети — его, Кондратюка, дети — плачут! И тихая незаметная женщина плачет! А когда он, Кондратюк, умрет, будут они плакать? Чуть-чуть, потому что так положено?

— Зачем жил человек?! — закричал Кондратюк. — Какая от него была польза? Какая?!

Сыновья молча взяли его под руки и увели в свою квартиру.

— Зачем жил человек?! — продолжал кричать Кондратюк. — Лжете вы все! Зря! Зря жил!

— Ты!.. — закричала его жена, тихая, незаметная женщина. Она всегда была тихая, и мать у нее была тихая, и бабушка. — Как ты смеешь! Тебе этого никогда не понять!

Неужели это его жена? Откуда и слова-то такие знает?

— Ненавижу! Ненавижу! — кричала тихая женщина.

И дети не заступались за отца.

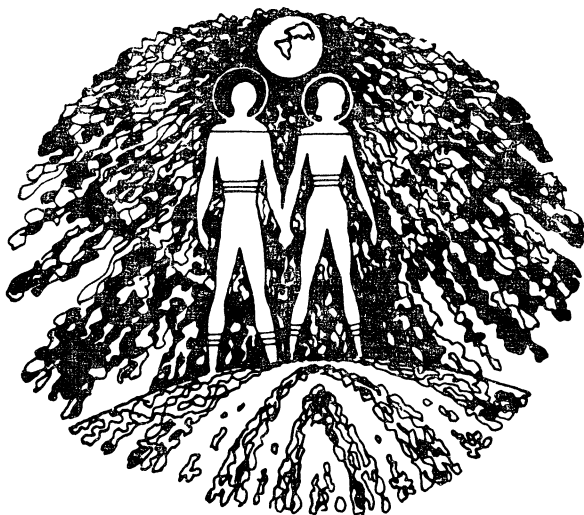
Все перевернулось и рассыпалось в голове Кондратюка. Может быть, впервые в жизни он подумал: а зачем живет он сам? Как он живет? Не крал, не обманывал! Брал только то, что положено по закону. Неужели этого мало?! Что нужно еще? Что?

Когда все возвращались с кладбища, Кондратюк бросился с моста в ледяную воду Маны. Его выловили и откачали, Кондратюк остался жить.

Тимофей Федорович уговорил Пионова задержаться в Усть-Манске на недельку. Они вместе разобрали архив Чеснокова. Страшно волнуясь, Тимофей Федорович начал читать последний роман Чеснокова, роман, который он писал и сам. Он предполагал встретить абсолютное сходство. Но это был совершенно другой роман. Тимофей Федорович напрасно волновался.

Пионов взял с собой рукопись романа с твердым намерением опубликовать его под фамилией Чеснокова. Он было хотел взять и рукопись Тимофея Федоровича. Ну что особенного, если у двух разных романов окажется одинаковое название?

— Нет, Гриша, — сказал Тимофей Федорович. — На вопрос «Зачем жил человек?» можно дать только один ответ. Так пусть уж на него ответит сам Чесноков.



Весна света

За толстыми керамитовыми стенами базы расстилались огромные пустыни снега, делавшие поверхность безжизненной планеты одинаковой во всех ее точках, однообразной, унылой и холодной. Планета словно не могла пробудиться от бесконечного сна.

Они сидели возле электрического камина. Он и Она.

Она родилась в космическом корабле. Все ее детство прошло среди предметов, сделанных руками человека. Землю ей заменял пластик пола, вентиляция заменяла ветер, свет неярких светильников — солнце, вода жур-

чала для нее только из крана, магнитофонные записи заменяли пение птиц и шелест травы. И лишь цветы, невзрачные, тусклые, но живые и от этого теплые и приятные на ощупь, она видела наяву. Цветы росли в главной оранжерее корабля. Их было около двух десятков. За цветами тщательно ухаживали, любовались ими, любили их, но они все равно гибли. Их становилось все меньше и меньше. Последний увял, когда ей было одиннадцать лет и корабль подошел к искусственной планете диаметром в двадцать семь километров.

Здесь было миллионное население, четыре университета, школы, театры, искусственные катки и даже рощи лиственных деревьев. Искусственная планета, казалось, затерялась среди звезд, так далеко от нее они были. Но планета была очень нужна людям. За ней начинался еще неисследованный космос. Здесь строили новые корабли, отсюда экипажи уходили в дальний поиск.

Она училась в школе, затем в университете. И у Нее было много друзей и подруг. А потом Она встретила Его. Он только что прилетел с Земли и не был похож на всех, кого Она знала раньше. Он был более замкнут, хотя Ему полагалось быть более общительным. Он был более грустным, хотя о чем Ему было грустить? Он видел все, Он видел Землю. Он даже родился на ней. И улетел с нее впервые в учебный полет, когда Ему исполнилось уже двадцать лет.

Он очень хорошо знал, что такое мягкая черная земля, знал, какое счастье валяться на траве и смотреть в раскаленное небо, ощущая обжигающие лучи солнца. Он жил в Сибири, видел сохраненные навечно глухие углы тайги, переходил вброд холодные таежные речки и рвал цветы огромными охапками, а потом дарил их девушкам и уходил, потому что ни одна не тронула его сердце.

Когда Он встретил Ее, то удивился ее жизнерадостности, счастливому выражению ее лица, потому что в его воображении человек, который ни разу не видел Землю, не мог быть счастливым.

Они полюбили друг друга. Он — сын Земли. Она — дочь Неба. А потом огромный корабль ушел в дальний поиск открывать новые звезды и планеты, и они отправились с экспедицией. На каждой новой планете оставалось два или три человека, которые должны были все узнать о ней.

На одной из планет остались Он и Она.

Экипаж корабля соорудил им керамитовый домик, в котором был маленький зал для танцев и аппаратная с тысячей очень сложных приборов, столовая и кабинет для работы, кухня и ванная, прихожая и специальное помещение, в котором жил старый-престарый робот, знавший Ее еще с пеленок.

Им было хорошо друг с другом. Одиночество не тяготило их. С утра они запускали маленькие ракетки, которые после обеда возвращались, доставляя им кинофильмы о различных областях планеты и данные о температуре, давлении, силе притяжения — словом обо всем, что можно было узнать о планете. Они обрабатывали материалы, танцевали, рассказывали друг другу всякие истории. И старый робот осторожно останавливался где-нибудь в углу и молча слушал их. Он вообще был неразговорчив.

Через день они садились в винтолет и летели по заранее намеченному маршруту, удаляясь от базы иногда на несколько тысяч километров. И тогда старый робот поддерживал с ними связь и пытался самостоятельно обрабатывать материалы исследований.

В этот день они сидели возле электрического камина.

Он молчал, словно не замечая Ее. И лента магнито-

фона крутилась зря, потому что Он не слышал музыки, и Она зря тормозила Его за плечо, предлагая потанцевать.

Она заметила, что с Ним что-то делается. Уже несколько дней Он был таким — неразговорчивым, ушедшим во что-то свое, чужим, непонятным. И Ей было от этого не по себе.

— Хочешь остаться один? — спросила Она.

Он очнулся и отрицательно покачал головой. Она запела что-то, а Он вдруг спросил:

— Почему эта планета мертвая?

Станный был вопрос. Почему эта планета мертвая? Так ведь почти все планеты мертвые. Жизнь даже в самой примитивной форме встречается очень редко. Она так ему и ответила:

— Потому что это обычное явление в космосе.

— Ну нет, — возразил Он.

— Сколько мы с тобой знаем планет? Разве хоть на одной из них была жизнь?

— Была, — утвердительно ответил Он.

— Нет, — и Она отрицательно покачала головой.

— Ветер, снежные ураганы, песчаные вихри, землетрясения, вулканы. Нам везде приходилось бороться. А здесь все мертво. Нет ни гор, ни ущелий, ни ветра, ни смены температур, ни дня, ни ночи. Здесь все застыло, как при абсолютном нуле.

— Ну и что же в этом плохого? Разные бывают планеты. Попалась вот и такая. Зато какие здесь звезды! Отчетливые. И видны даже самые маленькие. А солнце отсюда можно увидеть?

— Нет, нельзя.

— Вот видишь, как далеко мы забрались с тобой. А мне нравится эта тишина. словно все замерло в ожидании чего-то нового. Хочет и боится. Ждет и не верит.

Так и я. Мне тоже кажется, что я чего-то жду. И я, наверное, такая же мертвая.

— Нет, ты живая, ты теплая, ты разная, ты можешь и смеяться, и плакать, и грустить, и радоваться... Я хотел бы показать тебе Землю.

— Ты знаешь, мне совсем не хочется туда. Наверное, потому, что я не могу себе представить ее. Сколько бы я ни смотрела фильмов, ни слушала рассказов, я не понимаю ее, не чувствую. Мне хорошо и здесь. Лишь бы горели звезды.

— Здесь даже звезды не такие, как на Земле. Одинаковые. А там они разные. То большие, это перед дождем, и мигающие. То блестящие, сухие и маленькие, это в морозные ночи.

— Скоро придет корабль. Ты можешь возвратиться на Землю. Даже видя ее, ты, наверное, будешь тосковать по ней.

Она села на спинку кресла и обняла Его, спрятав свое лицо в его волосах. Он не пошевелился. От электрокамина исходило приятное тепло, но это было совсем не то тепло, которое исходит от костра. Тепло огня живое.

Она чувствовала, что Он снова забыл о ней, в который уже раз. И Ей сделалось грустно и досадно, и неприязнь возникла в ней к Земле. И, может быть, впервые Она захотела увидеть ее. Узнать, что же в ней такого, что Он не может жить без нее.

Он только сказал:

— На Земле март.

Это Ей ничего не говорило.

А Его непреодолимо тянуло на Землю. Именно сейчас, когда там начинается весна, когда солнце поднимается все выше и выше, когда снега только чуть-чуть подтаивают и их ослепительное сияние вызывает чув-

ство неудержимой радости и легкости. Когда в лесу уже твердый наст, сбитый ветрами и утопанный солнечными лучами. И по лесу уже можно ходить без лыж, и маленькие ручейки пробиваются в оврагах и логах, а бугры кое-где почернели.

В такие дни Он уходил в лес и бродил, не разбирая дороги, до вечера. Возвращался мокрый и счастливый. И особенно хорошо ему было, когда удавалось найти первый подснежник, маленький, хрупкий, кажется, такой неприспособленный к жизни, а все же выбивающийся первым из земли.

Он сидел в неприступных стенах надежного убежища. Тепло согревало ему ноги, а волосы гладила, конечно же, самая красивая женщина на свете. И все равно ему не хотелось сидеть здесь. Его уже давно тянуло прочь от этих стен, в мороз, в снег, в гнетущую однообразность. Разбросать, разбудить все, чтобы была весна света, чтобы Она увидела эту весну света... Нетерпение в груди накапливалось. И только одно сейчас удерживало Его — поймет ли Она его поступок, не разрушит ли он непонятным для Нее желанием любовь. Ее любовь.

— На Земле март, — тихо повторил Он.

— Ну и что, — даже не удивилась Она.

Тогда Он сбросил Ее руки со своих плеч и встал. Она испугалась, но лишь на мгновение, потом успокоилась и сказала:

— Что такого, что на Земле март... Был февраль, стал март...

Он молча вышел в прихожую и надел меховой комбинезон, затем унты, рукавицы, теплый шлем, спускающийся прозрачным забралом на лицо. Она смотрела на Него немного отчужденно, но с усмешкой. Еще мать рассказывала Ей, что мужчин иногда что-то уводит с прямого, понятного и всеми одобренного и проверенного

пути. Но чаще всего они все равно возвращаются. Возвратится и Он. Здесь некуда уйти.

Он открыл дверь. Клубы пара ворвались в переднюю и медленно исчезли, когда Он захлопнул за собой дверь. Старый робот вопросительно повернулся к Ней.

— Иди, — приказала Она. — Только чтобы Он тебя не видел.

Все-таки Она немного боялась, что Он не вернется.

А Он вышел из сверхнадежной керамитовой базы и остановился. Темнота кругом, но не полная, не страшная, а какая-то безразличная, пустая. Он крикнул что-то в эту пустоту, но не получил ответа. Здесь даже эха не было. Тогда Он пошел вперед, по своим же следам, и добрался до того места, где остановился вчера. Он постоял немного в раздумье. Нет, ему не хотелось возвращаться. Вперед, вперед. Оставить хотя бы цепочки следов на этой ничего не желающей планете. Хоть этим сделать ее не такой однообразной.

Он шел все быстрее. Стало жарко. И Он сбросил теплый шлем, потом рукавицы, расстегнул комбинезон. Старый робот шел в километре за ним, чуть в стороне. Но, увидев, что человек сбрасывает одежду, изменил направление и подобрал ее. Он знал, что было холодно, но не решался напомнить об этом человеку. Ведь Она сказала, чтобы он только издали охранял Его, не попадаясь на глаза.

А человек шел все вперед. Он уже ничего не замечал вокруг. Да и что тут было замечать? Это белое однообразие? Он снова был на Земле, среди полыхающего бликами моря света. Сощутив глаза, Он смотрел на солнце. Нагнул ветку тальника в небольшом овражке возле замерзшего ручья и с давно забытым чувством, заставившим учащенно забиться его сердце, ощутил ее запах.

Затем Он очутился в березовой роще и медленно кружил вокруг стволов, прижимаясь к ним разгоряченным лицом и глядя их гладкую кожу с коричневыми зигзагами разрывов коры. Он прислушался. Он услышал, как переговариваются деревья. Как красные и желтые птицы то и дело вмешиваются в их неторопливую беседу. Как дятел, постукивая клювом по стволу, создает неповторимый ритм, как пролетела где-то сова, иногда задевая ветви, как прямо перед Ним выскочил белый зверек, перевернулся в воздухе и бросился в обратную сторону.

Весна света! Половодье света! Солнце куда ни глянь! Солнце в небе, солнце на снегу, разбросанное мириадами блесток, солнце в воздухе, в деревьях, в настроении, в душе.

Он спустился в небольшую ложбинку, запнулся за что-то и упал в снег. Поднялся... и понял, что Он не на Земле. Он был на этой тоскливой планете. Тогда Он ничком бросился в снег. Снег, прилипший к лицу, немного привел Его в себя. Он перевернулся на спину и посмотрел в небо. Звезды чуть заметно проглядывали сквозь темно-серую дымку. Снег попал Ему за воротник и растаял там. Он сел, ощущая, как холодная струйка воды проскользнула между лопатками.

Что-то заставило его оглянуться. Что-то было не так, как прежде. Он не сразу сообразил. Потом понял, что Он не видит горизонта. Он встал во весь рост, но все равно не увидел горизонта. Он находился в небольшой ложбинке. Это Его удивило... Еще ни разу на этой планете Он не встречал никаких отклонений от поверхности идеального шара.

Он попытался подняться наверх. Это Ему удалось, но с трудом, потому что склоны были довольно круты. Он медленно повернулся на месте. Горизонт был отчетливо виден. Так отчетливо, как никогда раньше. Он по-

пытался сообразить, почему это. Потом понял. Стало светлее. И темное пятно солнца стало почему-то багровым.

И тут Он услышал какой-то звук...

Звук был очень знакомый, но необычный... здесь.

Он прислушался. Звук доносился из ложбинки. Тогда Он снова спустился вниз, растерянно глядя по сторонам. Ноги его чуть не по колено провалились в снег, Он попытался выбраться, но провалился еще глубже. Он начал разгребать снег руками и обнаружил, что снег мокрый. И это при семидесятиградусном морозе.

Он вспомнил, что напоминал Ему этот необычный звук. Так журчит первый лесной ручей. Самый первый, когда еще голоса многих не сливаются в общую удивительную симфонию-фантазию. Что-то мягко било его по ногам, возле самых подошв. Это и был ручей. Самый настоящий ручей. Он не поверил и зачерпнул воду рукой. Ручей был холодный, прозрачный, свежий. Глаз нельзя было оторвать от него.

И тогда Он пошел вниз по ручью, увидел, как осел снег на одном из склонов ложбинки. «Так и должно было быть, — подумал Он. — Это должно было быть. Не может быть абсолютной смерти». Он что-то искал, разгребая руками рыхлый мокрый снег. А вокруг становилось светлее. Он уже явственно, отчетливо различал свою тень.

И вот в одном месте Он увидел, что снег протаял почти до самой земли. Он бросился туда, низко наклонился, как в глубоком поклоне, и замер.

Маленькие беленькие лепестки подснежников на тонюсеньких стеблях пробились через тонкую корочку льда. Их было несколько. Он долго стоял и смотрел на них. Потом вспомнил Ее. Она должна увидеть их. Он сбросил с себя комбинезон, оставшись в одних брюках

и ярком свитере. Осторожно сорвал подснежники, положил их в одну ладонь, прикрыл сверху второй и начал взбираться наверх. Он все время смотрел себе под ноги, чтобы случайно не упасть. А когда выбрался наверх, то вынужден был тотчас же закрыть глаза, такой ослепительный свет разливался вокруг. Он засмеялся от счастья и, проваливаясь по колено в снег, пошел к базе. Какое-то черное пятно на мгновение привлекло его внимание, но тут же исчезло. Это был старый робот. Ему приходилось трудно, ведь он был очень тяжелый и все время проваливался в снег, недоумевая, что же произошло, почему такая твердая раньше поверхность вдруг стала непослушной и коварной.

А Она, когда Он захлопнул дверь, разделась и легла в постель. Взяла книгу, но читать не хотелось. Мысли ее все время возвращались к Нему. Что погнало Его прочь от тепла и ее нежных рук? Неисправимый! И Она ждала Его в темноте, начиная уже волноваться, слишком долго Он задерживался. Но старый робот должен охранять Его. Роботу она верила.

Дверь открылась внезапно, рывком. Она приподнялась на локте. Яркий свет ударил Ей в глаза. Она увидела Его, протягивающего вперед раскрытую ладонь. Он был без теплой одежды, весь мокрый и радостный.

— Что случилось? — испуганно спросила Она.

— Весна света! — ответил Он.

— Неисправимый, — тихо сказала Она.

— Смотри, — Он поднес к ее глазам чуть вздрагивающую ладонь. — Это подснежники. Я нарвал их для тебя.

— Здесь? — удивилась Она и взяла цветок. — Неужели это правда? — Она тихо рассмеялась.

— Ты увидишь ее. — Он взял Ее на руки и, хотя Она, смеясь, просила: «Отпусти! Отпусти!» — вынес из

керамитового домика. Она чуть не ослепла от льющегося отовсюду света и уткнулась лицом в его грудь. Потом осторожно отняла свое лицо, медленно приоткрывая глаза.

— Необыкновенно как, — только и сказала Она, тихо-тихо, но Он расслышал.

— Пойдем туда, — кивнул Он головой вперед.

— В одной рубашке, чудной...

Он отнес Ее назад, в домик. Она надела блестящие черные брюки и белый свитер, ботинки с толстыми подошвами.

И они вышли вдвоем в сверкание снега, в удивительные блики солнца.

Взявшись за руки, они пошли вперед.

Старый робот едва добрался до базы. Он согнал с себя капельки воды перед камином, подзарядил аккумулятор и сел в кресло. У него вдруг появилась потребность осмыслить все происходящее. Он думал долго, но не пришел ни к какому выводу. Неужели человек настолько одержим, настолько велик в своих чувствах, что может растопить силой своих чувств вечные снега мертвой планеты? Или просто проснулось светило? Робот не выдержал, и пошел в аппаратную, и включил там вычислительную машину. Он заложил в нее все данные о планете и ее солнце. Длинная лента ответа потянулась из вычислительной машины. Робот читал ее и удивленно покачивал головой.

А они все шли вперед. И случалось, что Он отставал от Нее, и тогда Она брала Его за руку и вела за собой. Они оба смеялись. Они оба были очень рады. И неизвестно, кто больше. Он ли, потому что показал Ей эту весну... Она ли, потому что впервые увидела весну света...

А на Земле действительно был март. В Сибири началась весна света...



Настройщик роялей

Его звали просто настройщиком роялей. Никто не знал, сколько ему лет, но все предполагали, что не менее ста; а ребяташки были уверены, что ему вся тысяча, такой он был сухой, сморщенный и старый.

Он появлялся в чьей-нибудь квартире часов в десять утра с небольшим чемоданчиком в руке и долго не мог отдышаться, даже если надо было подняться всего на второй этаж. Его сразу же приглашали пройти в комнату, предлагали стул, заботливо спрашивали, не налить ли чаю, потому что настройщики на вес золота, ведь инструментов нынче стало много, чуть ли не в каждой квартире, а настройщиков нет.

И вот он сидит в чисто прибранной комнате, делая частые неглубокие вдохи, покорно дожидаясь, когда сердце перейдет с галопа на неторопливый шаг, и молчит. Он не произносит ни слова. И седенькой старушке, которая до сих пор с опаской обходит пианино, приходится говорить. Она знает, что раз пришел настройщик роялей, значит надо говорить об инструменте. Она с радостью поговорила бы о чем-нибудь другом, например, о погоде, о том, что в прошлом году грибов «просто пропасть сколько было», о том, что последнее время сильная ломота в ногах, но положение обязывает говорить только о пианино.

— Вот, купили эту роялю. Говорят, дочка пусть учится играть. Ей и было-то три года, а уже деньги копить начали. Теперь-то, говорят, в кредит купить можно. Ну да ведь не знаешь, что завтра будет. Купили, и хорошо. Слава богу, Танюша уже второй класс кончает. И играет. Придет со школы и за нее, значит, за пианину эту. Понимает уже все. И по нотам разбирается.

Старушка смолкла, ожидая, что заговорит настройщик роялей, но тот не произнес ни слова. И когда молчание стало слишком затягиваться, снова заговорила:

— С матерью, с дочкой, значит, моей, они по вечерам сидят. Бренчат, бренчат. Хорошо получается. Особенно эти... этюды. И отец тоже сядет где-нибудь в угол и слушает. Молчит и слушает. А потом расцелует обеих, а сам чуть не плачет. Их-то ведь ничему не учили... Время такое было.

Настройщик слушал и иногда молча кивал головой, чему-то улыбаясь.

— Вот я и говорю, — снова начала старушка. — Инструмент, он порядку требует, присмотру. Настроить там или еще чего. Я сейчас... — и она поспешно ушла в спальню, покопалась там с минуту, вернулась назад и

поставила на столик рядом с пианино масленку от швейной машины.

Настройщик по-прежнему молчал, загадочно улыбаясь. Старушка озабоченно огляделась вокруг. Может, еще молоток нужен? Спросить, что ли?

— Так, значит, Танюша в час придет? — вдруг звонким мальчишеским голосом спросил настройщик, так что старушка чуть не ойкнула от удивления. Ведь она ему об этом ничего не говорила...

— В час... в час...

— Ну так я в час и зайду! — весело и громко сказал настройщик.

— Как же, — забеспокоилась старушка. — А посмотреть хоть? Может, ремонт какой ему... Да и тише сейчас. Никто не мешает.

— А мне никто не мешает! Как же я без Танечки буду его настраивать?! Ничего не выйдет! Совершенно ничего!

— Ну, ну, — оторопело сказала старушка. — Молоток-то у нас есть, вы не беспокойтесь.

— А я пока пошел дальше, — сказал настройщик, взяв свой чемоданчик и вышел из квартиры.

На лестничной площадке он немного постоял и решительно позвонил в соседнюю дверь.

Его встретила высокая полная женщина в тяжелом, расшитом павлинами халате, в замшевых туфлях с загнутыми вверх носками и с огромной бронзовой брошью на груди.

— Вам кого? — деловито и громко осведомилась она.

— Я настройщик, — тихим усталым голосом отрекомендовался старик.

— А! Наконец-то. Проходите. Терпенья уже от соседей не стало. Ноги об коврик вытрите. Снимать-то ботинки все равно не будете. Проходите вот сюда. Сиди-

тесь на этот стул. Пианино у нас чешское. Тыщу триста рублей вбухали. А оно и играть-то не играет.

Настройщик поставил чемоданчик на пол и осторожно опустился на стул, словно тот мог не выдержать его иссохшее тело.

Хозяйка квартиры подошла к пианино, открыла крышку и стукнула пятерней по клавишам:

— Слышите! Оно и не играет совсем.

Настройщик повернулся к инструменту одним ухом, словно прислушиваясь.

Женщина еще раз стукнула пальцами по клавишам и извлекла из инструмента какой-то сумасшедший аккорд.

Настройщик все так же молча продолжал сидеть на своем стуле.

— Что же вы? — загремела хозяйка. — Пришли, так работайте. Или вам тоже стаканчик водки надо? Нет уж! Приходили тут батареи промывать, так сначала им водки надо. А после них ремонту на тридцатку пришлось делать. Водки не дам и чаю сразу не дам. Сделаете, а потом чай гоняйте... Что же вы сидите?

— Кто у вас на нем играет-то? — осторожно спросил настройщик.

— Я играю. А вообще-то для Коленьки купили. А вам-то что до этого?

— Нужно, — твердо ответил настройщик.

— Коленька, — позвала женщина. — Иди сюда. Уроки потом сделаешь.

Из комнаты вышел мальчишка лет десяти и, глядя куда-то в сторону, поздоровался.

— Не хочешь играть? — вдруг спросил его настройщик.

— Не хочу! Не хочу и не буду! — скороговоркой ответил мальчишка и испуганно посмотрел на мать,

Та погрозила ему кулаком и строго выговорила:

— Мал еще: хочу не хочу. Что скажу, то и будешь делать.

— Коля, сыграй мне что-нибудь, — попросил настройщик. — Просто так, как будто для себя. А я послушаю, что у вас с вашим инструментом.

Мальчишка насупился, но все же сел за пианино и сыграл этюд Черни.

— Вот, слышите, как тихо играет, — сурово сказала Колина мама. — На третьем этаже уже ничего не слышно. За что только деньги берут?

— А мне в школе сказали, что у меня слуха совершенно нет, — объявил Коля.

— Не твое дело, есть или нет, — отрезала мама.

Настройщик подошел к пианино, и Коля поспешно уступил ему место. Старик ласково пробежал по клавишам пальцами обеих рук и осторожно погладил полированную поверхность.

— Хороший инструмент. Почти совершенно не расстроен.

— Так ведь тихо играет, — забеспокоилась хозяйка. — Соседи играют, у нас все слышно. Мы играем, им хоть бы хны. Ни разу не пришли, не сказали, что мы им мешаем. А мне чуть ли не каждый день приходится стучать в стенку. Телевизор не посмотришь... Сделайте, чтобы играл громко. Чтобы на всех этажах слышно было.

— Понимаю. Это пустяковое дело, — сказал настройщик.

— А сколько берете? — подозрительно спросила Колина мама.

— Я беру десять рублей, — твердо ответил настройщик.

— За пустяковое-то дело?

— Кому пустяковое, кому — нет.

— Ох уж с этими халтурщиками спорить! Все равно вырвут.

— Я настройщик роялей, — твердо сказал старик.

— Господи, да заплачú я. Сделайте только все, чтоб как гром гремел.

— Сделаем. Так, значит, ты, Коля, не хочешь играть на пианино?

— Нет, — ответил мальчишка, глядя в угол.

«А слуха у сорванца действительно нет. Да и у матери тоже», — отметил настройщик.

Он снял с пианино передние стенки, верхнюю и нижнюю, вытащил из чемоданчика инструменты, всякие молоточки, ключики, моточки струн и с час провозился с инструментом, ни на кого не обращая внимания и прослушивая его, как врач больного. Потом он поставил стенки на место, закрыл чемоданчик и сказал:

— Готово. Можете проверить.

Хозяйка недоверчиво подошла и долбанула по клавишам пухлой пятерней. Раздался ужасающий грохот, в окнах зазвенели стекла и с телевизора упала фарфоровая статуэтка купальщицы.

— Ну теперь они у меня попляшут! — грозно сказала женщина. — Коленька устанет, сама садиться буду. А ну, сынуля, садись. Посмотрим, долго ли они выдержат.

Мальчишка, чуть не плача, сел за пианино, и квартира снова наполнилась неимоверным грохотом.

— Прекрасно, — сказала Колина мама и выдала настройщику десятку.

Тот не торопясь положил деньги в потрепанный бумажник и взялся за чемоданчик. Лишь только он переступил порог квартиры, как гром сразу же смолк. Настройщик на всякий случай переступил порог в обратном направлении и удовлетворенно улыбнулся. В квар-

тире грохотало пианино и дребезжали стекла. Но только в квартире. Сразу же за ее пределами стояла глубокая и приятная тишина.

Настройщик знал свое дело.

Он поднялся на третий этаж и позвонил в дверь, из-за которой доносились нестройные звуки пьяного квартета. Здесь все еще праздновали затянувшийся день рождения.

Дверь открыл глава семьи, нетвердо державшийся на ногах, но очень вежливый и нарочито подтянутый.

— Папаша, проходите. Мы вас ждали. Шум сейчас мы устраним. Не хотите ли стаканчик за здоровье моей любимой дочери? Впрочем, пардон-с. Бутылки пусты. Но это мы вмиг организуем. Садитесь за стол. Это моя жена. А это не то брат жены, не то дядя. Черт их всех запомнит! Его драгоценнейшая супруга. А это моя Варька. Что за черт! Варька, где ты?

Не то дядя, не то брат жены оторвал голову от тарелки с салатом из ранних помидоров, ослотившими глазами посмотрел вокруг и сказал:

— Я тебя знаю. Ты у меня на барахолке мотоцикл купил.

— Молчал бы! — прикрикнула на него жена. — Какой мотоцикл? У тебя и велосипеда-то никогда не было. — И она осторожно бумажной салфеткой сняла со лба мужа кружки тонко нарезанного репчатого лука.

— Варька, — зычно крикнул отец. — Иди сюда. И сыграй нам на пианино... Три этюда... Три этюда для верблюда. — Пропел он и вдруг захохотал, а за ним и все остальные. — Она у меня талант! Ее на конкурс хотят послать. Талант, а для отца и гостей не заставишь сыграть! Варька! Ну, Варюшенька, сыграй нам.

— У тебя дочь играет, — вдруг обрел дар речи не то брат, не то дядя хозяйки, — а у меня машину спер-

ли. — И он скривил губы, как бы собираясь заплакать.

— Ну что мелет человек, — начала успокаивать его жена. — Какой автомобиль? У тебя и велосипеда-то никогда не было.

— Варюшенька, — позвала мама, накладывая себе в тарелку тушеной капусты, — сыграй, доченька. И дедушка послушает.

В дверях показалась девочка. Вид у нее был сердитый и вызывающий.

— Чего вам надо! Орете второй день, а я вам играй! Все равно ничего не понимаете.

— А я говорю: играй! — приказал папа.

Настройщик вдруг понимающе подмигнул девочке, и та прыснула в плечо от смеха. Потом села за пианино и отбарабанила что-то совершенно непонятное и наверняка никому до этого не известное.

Папа, мама и гости зааплодировали, а дядя-брат сказал:

— Я всегда плачу, когда мотоцикл завожу.

— Молчал бы уж, — вспылила его жена.

— Варька у меня талант, вон как отчубучила! — похвастал папа.

— Доченька, сыграй для гостей еще что-нибудь, — попросила мама.

— А водочки-то тю-тю, нету, — сказал вдруг настройщик, и все забыли про музыку.

— Это мы сейчас сообразим, — уверил папа, и через минуту папа и дядя-брат устремились в магазин.

— Нельзя их одних отпускать, — сказала мама, и обе женщины бросились за мужьями.

— А теперь мы посмотрим, что случилось с нашим пианино, — довольным голосом сказал настройщик. — И мешать нам никто не будет.

— Да, не будет! Сейчас вернутся и затянут «Скакал казак через долину».

— Не вернутся. Они двери не найдут.

— Правда, не найдут? Вот здорово! — сказала девочка. — Всегда бы так.

— Так и будет. Как только они тебя заставят играть, сразу всем понадобится за чем-нибудь выйти, а дверей, чтобы вернуться назад, они не найдут, пока ты их не захочешь впустить.

— И я буду играть одна?

— Одна. Никто тебе не помешает.

— Спасибо, дедуля, спасибо! — девочка бросилась на шею настройщику роялей, так что тот едва устоял на ногах. — Я бы их совсем не пустила и все время играла!

— Как захочешь, так и будет, Варюшенька. А теперь давай вместе возьмемся за него. А?

— Давайте!

Через час пианино было настроено, и старик, устало закрыв глаза и чему-то улыбаясь, слушал странную и смелую музыку. Варенька импровизировала.

Потом они сжалились и пустили гостей в квартиру. Настройщику было выдано десять рублей, и он осторожно положил десятку в потертый бумажник. Девочка не отходила от него и все время повторяла:

— Я еще хочу вас видеть.

А папе снова захотелось, чтобы дочь сыграла для гостей. Варенька сразу согласилась и заговорщицки подмигнула настройщику. Тот тоже хитро сожмурил глаз, так что лицо его стало похоже на сморщенное яблоко.

— Варька, отчубучь! — приказал папа.

— Я тебя знаю, — сказал не то дядя, не то брат.

— С огромнейшим удовольствием, — по-взрослому сказала девочка и взяла аккорд.

— А пивка-то не взяли, — востропился папа. — Пойдем-ка, пока магазин не закрыли.

Мужчины чуть ли не бегом выскочили на лестничную площадку.

— Опять квартиру не найдут, — заволновалась мама. — Надо проследить. — И обе женщины вышли тоже.

— Вот здорово! — закричала в восторге девочка. — Приходите ко мне еще, дедуля! Я так хочу вас еще видеть!

— Приду, Варюшенька, приду, — сказал настройщик роялей, подмигнул и вышел за дверь. Здесь он минут пять постоял, слушая, как девочка переносит в музыку свою маленькую, чистую и уже очень сложную душу. А во дворе препирались папа и мама, которые никак не могли найти свою квартиру.

Настройщик знал свое дело.

Было пять минут второго, и настройщик роялей снова спустился на второй этаж, где жила Таня. Она уже пришла из школы.

— Здравствуй, Танечка, — мальчишески звонким голосом сказал сморщенный старик.

— Здравствуйте, — ответила девочка. — Вы настройщик роялей? И вы настроите мое пианино? У него «ля» в третьей октаве расстроено, и «ре» в контроктаве западает.

— А мы его вылечим. У тебя хорошее пианино.

— Да вы садитесь, — засуетилась бабушка. — Отобедайте. Ведь время уже.

— Обед подождет, — ответил настройщик. — Сначала мы займемся лечением. А еще раньше ты, Танюша, сыграешь. Я сяду вот сюда в уголок, и меня совсем нет. Никого нет. Играй.

Девочка нерешительно перебирала ноты, не зная, что выбрать. Выбрала седьмую сонату Бетховена. Эту сонату

играют редко, но настройщик роялей знал все. Он много раз слышал ее. И в какой раз он подивился тому, как дети чувствуют музыку, как переживают ее, страдают и радуются вместе с ней. Бёзошибочно, но каждый по-своему.

Девочка кончила играть и сказала:

— Я очень люблю играть, когда меня слушает папа. Он как-то очень странно слушает, словно помогает мне. И еще я люблю играть с мамой в четыре руки.

«Да, — подумал настройщик роялей. — Здесь работы совсем мало. Настроить «ля» в третьей октаве да подтянуть «ре» в контроктаве».

И все же он провозился целый час.

В это время пришел на обед папа, на цыпочках прокрался к дивану, взял в руки книгу, но так и не перевернул ни одной страницы.

А настройщик, закончив свою работу, сложил инструменты в потрепанный чемоданчик и сказал:

— А теперь, Танюша, проверь, так ли я настроил твоё пианино.

Девочка села, и по мере того как она играла, лицо папы меняло свое выражение. Сначала на нем было что-то недоверчивое, потом лицо выразило удивление, затем самый настоящий испуг и, наконец, восторг и растерянность.

— Что вы сделали? — тихо спросил он у настройщика. — Она так никогда еще не играла. Девочка вообще так не может играть. Ей ведь всего десять лет. Что вы сделали?

— Я настроил пианино вашей дочери, — скромно ответил старик.

— Но... но это что-то невозможное. Она чувствует музыку лучше, чем я. Ведь она еще совсем ребенок.

— Она действительно чувствует музыку лучше, чем

вы, хотя вы тоже чувствуете ее прекрасно. Об этом мне рассказала сама Танюша.

В это время пришла на обед Танина мама, и девочка бросилась ей на шею, рассказывая, как дедушка настроил ее пианино.

А папа сказал маме:

— Послушай ее. Это что-то невероятное. Таня так сейчас играла! Так прекрасно и необычно, что даже страшно становится.

— Ты что-то путаешь, — сказала мама. — Если прекрасно, то не может быть страшно.

— Но она никогда не играла так раньше.

— Это дедушка так настроил мое пианино, — гордо сказала Таня и запрыгала по комнате, таким образом, по-видимому, выражая свой восторг.

— Да, — застенчиво сказал настройщик. — Я просто настроил пианино в унисон с восторженной душой вашей дочери.

Бабушка незаметно убрала масленку от швейной машины и пригласила всех к столу обедать, но настройщик выпил только стакан молока, он спешил в следующую квартиру.

Папа смущенно протянул ему десять рублей и сказал, что расплачиваться рублями за такую работу просто неудобно. Не может ли он еще что-нибудь сделать для настройщика?

— Вы и Танечкина мама сделали для меня и так очень много, — ответил сморщенный старичок.

Настройщик осторожно положил деньги в потертый бумажник и откланялся, улыбнувшись на прощание Танюше.

Не успел он выйти за дверь, как девочка бросилась к своему пианино, раскрыла ноты и заиграла. Папа был уже немного подготовлен, а маме пришлось вцепиться

в подлокотники кресла так, что у нее побелели ногти. Потом она посмотрела на папу, тот почувствовал ее взгляд и повернулся к ней. Что они говорили друг другу этим взглядом, никто, естественно, так и не узнал.

Наверное, очень многое.

Настройщик знал свое дело.

Он постоял немного перед дверью и поднялся на четвертый этаж, потом на пятый, затем спустился вниз и зашел в соседний подъезд. И снова началось его путешествие по этажам.

Часам к семи он устал, годы брали свое, и зашел в ближайший магазин. Там он купил конфет, а в соседнем магазине — игрушек. А когда он выходил из магазина, его уже ждала толпа ребятишек, и он пошел с ними на сквер и там раздал конфеты и игрушки. Он точно знал, кому что нужно дарить. Одним конфеты, другим игрушки. Потом он рассказал им смешную сказку и, когда ребятишки начали, перебивая друг друга, пересказывать ее и показывать в лицах, незаметно ушел от них.

Потом ему встретился еще один магазин, зашел он и в него. И снова встретил шумную компанию своих бесчисленных друзей-ребятишек, и снова угощал их конфетами, и дарил игрушки, и даже придумал новую игру, такую интересную, что все тотчас же увлеклись ею, а он незаметно ушел и от них.

И вот магазины уже начали закрываться, да и денег к тому времени у него уже не осталось. И теперь он уже не угощал ребятишек, а только что-то тихо рассказывал им и незаметно уходил, когда чувствовал, что им интересно и без него.

Солнце уже спряталось за домами, а он все шел, не спеша, слыша иногда музыку пианино и роялей, которые он настраивал. Многим людям настраивал он ин-

струменты, мальчишкам и девчонкам, юношам и девушкам, взрослым и даже одной старушке, которая уже двадцать пять лет была на пенсии.

Взрослые звали его просто настройщиком роялей, а дети — дедушкой или дедулей, потому что никто не знал его настоящего имени. И лет ему было, может быть, сто, а может быть, и вся тысяча. Так, во всяком случае, думали ребятишки.



Жемчужина

— Теперь открой глаза, — тихо сказал Он Ей на ухо.

Она послушала Его, широко открыла и без того огромные черные глаза и сразу же задохнулась от радостного удивления, охватившего все Ее существо.

Прямо над Ее головой сияла спиральная галактика с десятком изящно изогнутых рукавов. Она перевернулась через голову на сто восемьдесят градусов, и спираль оказалась под ногами. Но зато теперь перед глазами мириадами звезд искрились два шаровых скопления. Она повернулась еще чуть-чуть, и перед Ней возник сплюснутый диск четвертой галактики. Еще правее.

Вот оно что! Они находились на окраине пятой галактики. Огромный, вполнеба, Млечный Путь!

Затаив дыхание, зачарованно смотрела Она на этот блистающий, искрящийся, живущий какой-то своей, странной жизнью мир. И Он иногда бросал по сторонам любопытный взгляд, но все Его внимание было поглощено Ее лицом в черной волне волос, в котором без труда угадывались ощущение красоты происходящего и грустная мысль, что все это скоро кончится. Ее глаза в траве ресниц старались сразу охватить и запечатлеть навечно ВСЕ.

А потом пришло что-то вроде легкого опьянения. Они подняли руки над головой, и мир подчинился Их желанию. Они играли галактиками, закручивая в пространстве замысловатые кривые. Они могли менять их местами, заставляя кружиться в стремительном хороводе. Они зажигали сверхновые, сталкивали друг с другом целые миры, высекая из них фонтаны негаснущих искр, и даже одним махом стирали всю картину мироздания, закрывая на секунду глаза.

Так прошел час. Он осторожно тронул Ее за плечо и сказал:

— Мы еще не выбрали. Летим?

— Летим! — ответила Она, и Они понеслись в гущу звезд, которые осторожно расступались при Их приближении.

Она была слабее Его и отстала. Он почти тотчас же почувствовал Ее отсутствие, остановился и окликнул, но не получил ответа. Она слышала Его. Ей просто пришлось в голову, что Она одна в космическом пространстве и (а это так и было) не знает дороги к Солнцу и Земле. Сладкий ужас приключения сжал Ее сердце, но Его голос был уже настолько тревожен, что Она не смогла продолжать игры и, внезапно появившись из черной

пустоты, обвила Его грудь маленькими крепкими руками. Он нахмурил брови и сказал что-то серьезное и правоучительное. Она рассмеялась. Тогда Он сжал Ее руку в своей и уже больше не выпускал.

— А как мы возьмем ее с собой? — спросила Она.

— О! — загадочно ответил Он. — Как тебе нравится вот эта?

Пролетая мимо звезды Бетельгейзе, Они немного задержались.

— Нет, — сказала Она. — Издали она хороша, а вблизи какая-то уж очень рыхлая. Да и очень большая. Разве такую втиснешь в нашу комнату?

— Пожалуй, — согласился Он, и Они понеслись дальше.

Алголь отпугнул Ее своим красноватым цветом. Денёб Она просто пожалела. Жаль было брать глаз прекрасной птицы. Мицар нужно было брать вместе с Алькором, а зачем Им две? Им нужно только одну звезду. Сириус остался на своем месте, потому что в южных широтах стояла ясная погода и отсутствие самой яркой звезды земного неба было бы тотчас же обнаружено. Зачем тревожить людей? Завороженная красотой, Она остановилась возле Веги и уже хотела сказать: «Вот эту!», — но Он потянул Ее за руку, проговорив:

— Я знаю, что тебе нужно. Летим!

И Они снова понеслись прочь от Солнца, рассекая своими упругими телами холод пустоты, пронизанной мириадами светящихся лучиков.

— Хочешь Жемчужину из Короны? — спросил Он.

— Правда? — обрадовалась Она. — Хочу!

Они остановились в одном парсеке от звезды, излучавшей приятное тепло, и Он заметил на лице своей подруги всплеск восторга и отчаянного удивления. Это были отблески несущейся Им навстречу звезды.

— Это действительно Жемчужина, — тихо сказала Она. — Я поняла. Это Гемма.

— Да, Гемма, — просто ответил Он.

— Возьмем ее с собой!

Они были совсем рядом с Жемчужиной Северной Короны. Ее глаза расширились от страха перед такой массой раскаленной материи. А Он подлетел вплотную, и теперь казалось, что Он держит звезду на вытянутых вверх руках.

— Обожжешься! — крикнула Она. — Надо было взять хотя бы перчатки!

— Вот ерунда, — смеясь сказал Он и сдвинул Гемму с ее вечной орбиты.

— Но она все равно очень большая для нашей комнаты!

— В нашей комнате поместится вся галактика, — пошутил Он и стал слегка сдавливать звезду с боков до тех пор, пока она не превратилась в небольшой шар.

— Без нее здесь плохо, — сказала Она с грустью.

— Мы вернем ее завтра утром. Ведь это только на одну ночь.

— Да, только на одну ночь, — печально согласилась Она.

На левой вытянутой руке Он держал пылающую жемчужину, а правой крепко сжимал Ее руку.

Обратный путь до Земли Они проделали за пятнадцать минут. Над Сибирью стояли трескучие сорокаградусные морозы, и туман покрывал тысячи километров пространства.

Они вынырнули сверху из тумана прямо перед своим подъездом и, не успев затормозить, сбили с ног человека в унтах, полушубке и пыхиковой шапке. Человек упал, и бутылки «Столичной» и шампанского, подозрительно позванивая, покатались по утопанному снегу.

— Новый год еще не начался, а они уже пьяные разгуливают, — проворчал человек в полушубке и бросился собирать бутылки. К счастью, ни одна не разбилась. Он так и не взглянул на пламенеющую жемчужину, хотя машинально отметил в уме, что перед подъездом небывало светло.

Они взбежали на свой этаж — лифт не работал по случаю праздника — и открыли ключом дверь квартиры. Он осторожно положил звезду на стиральную машину, стоявшую в коридоре, и начал оттирать побелевшие от мороза щеки своей жены. Она замотала головой, засмеялась и убежала в ванную принимать теплый душ, пока не пришли гости.

Потом Они долго выбирали, на какую ветку положить Жемчужину, и расположили ее почти на самом верху, но так, чтобы ее можно было достать рукой. В Их малогабаритной квартирке можно было достать рукой и до потолка. Во всяком случае, Ему.

Она быстро накрыла на стол, а без пятнадцати двенадцать пришли гости: молодой, подающий надежды астроном с пухлой, как поролон, женой; сосед-пенсионер, бывший пожарный, и физик-теоретик с женой — тоже физиком-теоретиком. Минут десять все топтались в коридорчике, помогая друг другу раздеваться, доставая подарки и поздравительные открытки, целуясь и обнимаясь. Потом пожарный сказал:

— А ведь пять минуток осталось... — и крикнул.

Все всполошились, женщины забеспокоились за свои не приведенные в порядок прически, но времени было в обрез, и все поторопились занять места за столом.

Он притащил из холодильника пару заиндевших бутылок шампанского, а молодой астроном проделал с ними все необходимые манипуляции, да так ловко, что, когда по радио раздался голос диктора, извещав-

шего о наступлении Нового года и раздался бой курантов, бокалы у всех были уже полны и совершали движение по воздуху в центр стола, где и встретились с протяжным певучим звоном.

А через час, выпив и за старый и за Новый год, за успехи, за ответственного квартиросъемщика и его жену, все захотели потанцевать. Она пила мало и все время оглядывалась на медленно вращающуюся светящуюся Жемчужину, а Он тихо улыбался при этом.

— Хочу вальс гаснущих свечей, — баритоном сказала жена астронома. — Люблю танцевать в темноте. — Но она не любила танцевать в темноте, она вообще не любила темноту, предполагая, что в темноте обязательно должны быть крысы.

— Даешь вальс в темноте! — закричали остальные.

Старичок сосед, зная наверняка, что ему не придется участвовать в танцах, тем более в вальсе, тем более в темноте, налил себе полстопочки водки, выпил и, воспользовавшись шумом, положил себе кусочек фаршированных артишоков. Все хвалят, все едят. Любопытно попробовать. Он попробовал, покачал головой, как бы говоря: «Эх, молодежь...», — и с хрустом раскусил соленый огурчик.

Вальса свечей в фонотеке физика-теоретика, принесшего с собой магнитофон «Астра», не оказалось. И вообще у него вальсов не было. Бывший пожарный покряхтел немного, сходил к себе в квартиру и принес старую-престарую пластинку с названием «Амурские волны». Включили радиолу и выключили свет.

— Люблю танцевать в темноте, — повторила жена астронома, не сделав даже попытки подняться.

«Господи, — в страхе подумал бывший пожарный. — На ипподром бы тебе. Ведь поломают все тут с пьяных глаз».

А в комнате по-прежнему было светло.

— Выключите елочные гирлянды! — догадался кто-то.

Выключили и гирлянды. В квартире все так же светло.

— Люминесцентная игрушка, — констатировал факт освещенности физик-теоретик. — Интенсивность поразительная. Где купили?

— Это Жемчужина из Северной Короны, — сказала Она.

— Да, — подтвердил Он. — Это Гемма.

— Люди все достают, — недовольно сказала женщина-физик своему мужу физику. — А ты не мог купить приличных игрушек. Когда купили? — Это уже относилось к Ним.

— Это мы взяли на одну ночь, — сказала Она. — Такое чудо разве можно купить...

— Да, — согласился физик. — Сейчас приличную вещь разве купишь...

— Да нет же, — сказал Он, как-то странно сгорбившись, как будто Его ударили палкой. — Это не вещь. Это звезда. Звезда под названием Гемма из Северной Короны. Это созвездие еще иногда называют Северный Венец.

— Что касается параметров Геммы... — начал молодой астроном, но его перебили.

— Невозможная вещь, — отрезал физик-теоретик. — Звезд на Земле не может быть.

— Ого! Да эта игрушка горячая! — воскликнул астроном, дотронувшись до звезды и дую себе на пальцы.

— Одиннадцать тысяч градусов на поверхности, — сказал Он.

«А где же ящик с песком?» — лихорадочно подумал

бывший пожарный и налил себе еще полстопочки, но не выпил.

— Да тут не одиннадцать, а все пятьдесят градусов будет.

— Одиннадцать тысяч градусов, а не одиннадцать, — поправил Он.

— Разыгрываешь, — обиделся астроном.

— Не верите? — спросил Он и взял чью-то вилку. — Смотрите. — Он дотронулся вилкой до сияющего шара, и вилка начала исчезать. Глаза удивленных зрителей полезли из орбит. — Все. Она при такой температуре просто испарилась.

Физик-теоретик отошел от елки, взял со стола салфетку и начал что-то писать, хмурясь и дергая шей.

Сосед, бывший пожарный, встал со своего места, уперся руками в стол и угрожающе произнес:

— Может возгореться!

— Да нет же, что вы! — возразила Она. — От нее ничего не может загореться здесь.

Сосед крикнул, выпил полстопки, недовольно покачал головой и вышел в коридор.

— Вот вам! — вставая из-за стола, сказала физик-теоретик. — Вот формула, вот результат. При исчезновении вилки, при ее практически мгновенном испарении должен был произойти взрыв. Где он? Я очень хочу слышать, где взрыв?

— Ну что значит вилка по отношению к звезде, — сказал Он. — Ты ошибся в массе звезды на двадцать один порядок. Посчитай.

— Я взял массу этого шарика, — защищался физик-теоретик. — Ну сколько там? Пусть килограмм.

— Почему килограмм? Ведь это же масса звезды!

— Бросьте, бросьте, — не поверил физик и хотел

поднять Гемму. Это ему не удалось. Астроном ввязался помогать ему, но у них и у двоих ничего не вышло. — Да, тяжеловатая штучка. Килограммов сто пятьдесят будет.

— А почему в таком случае елка выдерживает этот груз? — неожиданно спросила женщина-физик.

— Действительно, почему? — удивленно посмотрели друг на друга физик и астроном.

— Разве мы за этим принесли ее в нашу комнату? — спросила Она у Него. — Ведь мы хотели, чтобы было красиво, чудесно, необычно, странно. А тут такие разговоры... Они еще попытаются вскрыть ее.

— Фокус какой-то, и все, — сказал астроном.

— А я думала, вы ее купили, — с облегчением улыбнулась женщина-физик.

— Давайте танцевать! — предложил Он. — Ведь никто в мире еще не танцевал в комнате при свете звезды.

— А я хочу в темноте, — заупрямилась жена астронома.

В это время в комнату вошел сосед с ведром воды, сделал всем успокоительный жест и поставил ведро возле елки, сказав назидательно:

— Предупредить пожар всегда легче, чем потушить. Прошу учесть.

Все начали садиться за стол. Жена физика, потому что это была не вещь, а какая-то звезда, что ли. Астроном, потому что не верил в чудеса. Физик, потому что решил, что он пьян, а раз уж пьян, то почему не выпить еще. Бывший пожарный, потому что он сделал все, что мог, чтобы предотвратить пожар. А жена астронома и не вставала из-за стола.

И через пять минут про Гемму забыли. Все, кроме Нее и Его. Она все так же украдкой поворачивалась,

чтобы краем глаза взглянуть на звезду. Бывший пожарный налил полстопки и поставил перед Ней.

— Что вы? Я не пью это, — сказала Она.

— И не пей, — наставительно ответил сосед. — Не обязательно ее пить. Ты садись на мое место, а я на твое. Это я себе налил. А то шею скрутишь. Красивая штука! Аж за сердце схватывает.

Они выпили за счастье, за исполнение желаний, танцевали. И жена астронома танцевала. Очень хорошо танцевала. И даже бывший пожарный с удивлением обнаружил, что может отплясывать твист не хуже молодых. Поставили и вальс «Амурские волны». По очереди кто-нибудь из гостей трезвел или пьянел, так что шумная компания не распадалась. Было весело и легко. Никто не вспоминал о злополучной Гемме, которая чуть было не расстроила весь праздничный вечер.

Расходились часов в шесть утра. Он пошел провожать гостей, а Она с ногами устроилась в мягком кресле и смотрела на медленно вращающийся шар. Тени странных мыслей и улыбок проносились по Ее лицу, придавая ему загадочное выражение счастья и мечты. Она встала и без всякого усилия положила Гемму себе на ладонь и не обожглась. Иногда с поверхности звезды срывались гигантские, в сотни миллионов километров, протуберанцы и слегка касались Ее лица, отражаясь в зрачках белыми молниями. Поток всепроникающих нейтрино вырвался из недр звезды и покорно угас, коснувшись Ее грустной и одновременно радостной улыбки.

Когда пришел Он, Она прижала к груди Жемчужину и спросила:

— Уже все?

— Да, — ответил Он. — Пора. Тебе она понравилась?

— Понравилась. Я хочу еще раз с тобой.

- Полетели.
- Я понесу ее сама.
- Хорошо.

Они вышли на улицу и рванулись в быстро редющий туман.

Физик-теоретик по приходе домой сразу же уснул, крепко обняв свою жену, тоже физика-теоретика. А проснувшись, подумал: «Что не привидится с пьяных глаз!»

Астроном на следующий день проверил снимки звездного неба, сделанные с искусственного спутника Земли. Геммы в созвездии Северной Короны в эту ночь не было. Астроном радостно хихикнул и решил писать диссертацию об однократных изменениях яркости некоторых звезд. Материал для диссертации уже был. Его жена сказала, что закуска у этих чудаков была какая-то не очень сытная.

Они неслись среди звезд и наконец отыскиали место, с которого взяли Гемму. Она выпустила из рук звезду, и та, стремительно расширяясь, вновь приобрела свой первоначальный вид. Он прикинул в уме скорость Геммы и, приподняв, переместил ее на шесть миллиардов километров. Теперь все было в порядке.

Не успели Они лечь спать, как в квартиру постучал бывший пожарный:

— Вы эту штуковину уже на место определили? — спросил он. — Внучке хотел показать. Шуточное ли дело — звезда! Не каждому дано видеть ее равно как на ладони. — И он растопырил свою узловатую пятерню.

— Определили, дедушка, — сказал Он. — Звезды должны видеть все.

— Ну, стало быть, ладно. При случае, если что... вы уж... внучке показать...

— Непременно покажем, — пообещал Он, и сосед поверил.

Наступил поздний зимний день.

— Жаль, — сказала Она.

— Чего? — спросил Он.

— Чудесно было. Плакать хочется, а от чего?

— Поплачь, я подставлю тебе свое плечо.

Но Она не стала плакать.

— Завтра придумаем что-нибудь еще, — пообещал Он.

— Так это завтра, — грустно сказала Она.

— Так ведь завтра уже наступило! — закричал Он, и Они оба весело рассмеялись.

По профессии он был простым физиком-теоретиком, даже не кандидатом наук, а по призванию — чудаком. Она тоже была чудачка и преподавала в школе историю древнейшего мира.

Они оба были чудаками и умели делать чудеса. Только Им редко верили.

А Они просто так их делали, не для того, чтобы Им верили!..



На асфальте города...

На проезжей части дороги собралась толпа прохожих, какая обычно возникает, если кого-то сбило машиной. «Вот вам и еще пример, — подумал Игнатьев. — Очистить надо улицы от машин. Автостреды можно строить и под землей». Игнатьев возвращался с трудного совещания, и в голове у него гудело, а тут еще солнце жарит, как в тропиках. Он возглавлял областную комиссию, которой было поручено изучение вопроса о переносе дорог и автостред для машин под землю. Сам он был ярым сторонником такого мероприятия, но, являясь председателем, старался воздерживаться от эмоций. Все учла комиссия: и стоимость предстоящих работ,

и уменьшение загрязнения воздуха, и количество автокатастроф. Все «за» и «против» были взвешены, и воображаемая стрелка решения застыла где-то около нуля. Нужен был еще какой-то факт, какая-то мелочь, нюанс, чтобы сдвинуть стрелку с мертвой точки.

Игнатьев поравнялся с толпой и вдруг услышал крик своей младшей дочери:

— Папочка!

Папочка мгновенно перепугался и врезался в толпу, тоже негромко выкрикивая: «Танечка! Танечка!»

Перед ним расступились. Сначала он увидел темно-вишневую «Волгу», затем своих дочерей. Всех четверых живых и невредимых. Они стояли перед автомобилем, обнявшись за плечи. За ними было пустое пространство, круг, в который никто из прохожих почему-то не вступал.

Шестилетняя Танечка отчаянно трусила. Это было заметно. Она бы и убежала давно, но старшая, десятилетняя Ира, крепко держала ее за плечо. Рядом стояли Оля и Марина, близнецы, им недавно исполнилось по восемь лет.

Старшая, конечно, понимала, что нет ничего хорошего в том, что они собрали такую толпу. И по ее глазенкам было видно, что она лихорадочно ищет выхода из этого неприятного положения.

Близнецы поглядывали исподлобья и были полны решимости. Первой увидела папу Танечка, резко вырвалась и с плачем (теперь, раз папа был близко, можно было и зареветь) бросилась к нему.

— Мы тут игра-а-ли...

— Ох, сейчас начнется, — вздохнула Ира.

— Все равно мы не пустим их, — сказала Оля.

— Поиграть и то негде, — вздернула носик Марина и отвернулась в сторону.

Но все трое не сдвинулись с места.

Папа прижал к себе Танечку, растерянно спрашивая:

— Что тут у вас произошло? Что опять натворили?

Пора бы ему и привыкнуть к беспокойному характеру дочерей, а все не может. Все еще кажется, что недавно научились ходить. И когда только успели вырасти?

— Послушайте, дорогой товарищ Игнатьев, — дверца машины открылась, на тротуар вышел слегка взбешенный товарищ Чичурин, начальник отдела строительства при горисполкоме, оппонент Игнатьева по проблеме подземного транспорта. — Хотя ты и одержим своей прекрасной идеей, но по улицам еще разрешается ездить на автомобилях. И потом, с каких это пор взрослые стали брать себе в союзники маленьких детей, да еще своих собственных?

— Дети, — строго спросил Игнатьев, — что вы тут делали?

И только сейчас он прислушался к шумевшим вокруг него людям. Говорили о его дочерях неодобрительно, слышалось даже слово «безобразие». Многие не знали, что здесь происходит, но на всякий случай остановились. А один студент художественного училища сначала присел на корточки на асфальте, потом выпрямился и сказал:

— Это же искусство!

— Да что тут происходит? — спросил папа.

— Встали вот твои дочери поперек дороги и не дают проехать. Что прикажете делать?

— Ира, вы зачем здесь безобразничаете? Ведь это дорога!

— Во-первых, здесь очень редко ездят, — начала Ира.

— Мы здесь город строим! — сказала Оля. — Вот так!

— Да-а, а разве по домам ездят? — взбунтовалась Марина.

— Папочка, папочка, этот дядя разрушит наши домики! — Танечка уже перестала плакать, хотя еще боялась оторваться от своего папочки.

— Ну, Игнатьев! — вспыхнул Чичурин.

— Хоть бы разошлись, что ли, — вздохнул Игнатьев, устало оглядывая собравшихся. — Ничего ведь не произошло. Сейчас мы разберемся. Товарищи, расходитесь, пожалуйста.

Собравшиеся стали расходиться.

— Закурим, что ли, — предложил Чичурин. — Все равно опоздал. Хотел на седьмой объект съездить. Не успею теперь... Ну и дочери у тебя. С характером.

— Да, этого им не занимать. Всегда вместе, вот у них сил, баловства и чудачеств всяких получается в квадрате. А почему они тут выстроились-то?

Трое девочек стояли, не сходя с места. Немного сердитые, но нисколько не испуганные и даже радостные, потому что отстояли свое, не испугались ни «Волги», ни только что окружавших их прохожих.

— Еду я, — сказал Чичурин. — А они на асфальте на коленках ползают. Рисуют что-то. Я сбавил скорость. А сам думаю — разбегутся сейчас. А они словно и не замечают. Я даже просигналил им, благо тут автоинспекция редко появляется. Не услышать они меня не могли. Нет, ползают, словно не замечают. Сигналю еще. Поднимается твоя средняя...

— Олька?

— Она самая. Встала и руки в стороны расставила. Кричит что-то. Я остановился. Пока вылезал из машины, они уже все четверо...

Какая-то светящаяся стрела-молния беззвучно пронеслась мимо них. Потом раздался негромкий хлопок. Двое взрослых вздрогнули от неожиданности. А лица девочек словно засветились каким-то торжеством, каким-то детским превосходством над взрослыми.

— Сейчас еще один цветочек будет, — сказала Танечка и посмотрела снизу вверх на папу, словно ожидая одобрения или поддержки.

— Здесь скоро все будет засеяно цветами, — сказала Оля, упрямо сдвинув брови.

— Ага! Чтобы их машинами давили? — поджав губы, спросила Марина, обращаясь, конечно же, к взрослым.

— Ох эти взрослые, — вздохнула Ира. — Разве они поймут.

— А ну-ка, помолчите минутку, — строго сказал папа и добавил, обращаясь к Чичурину: — Ну и что дальше?..

— Ну, вылез я. А они говорят, что дальше дороги нет. Дальше начинается город.

— Что еще за город?

— Город на асфальте. На асфальте город. Значит, машинам ездить нельзя. Вот ведь как рассуждают. Полюбуйся.

— Мел где взяли? — любопытствовал папа.

— В магазине купили, — ответила Ира.

— В классе взяли, — отвернулась Оля.

— У девочки у одной, — пожалала плечами Марина.

— Папочка, папочка, а мне Ира дала один кусочек, — заторопилась, проглатывая буквы, младшая дочь Игнатъева.

— В классе брать нельзя, — отрезал папа. — Нехорошо это.

— Знаю, — сказала Ира. — Не будем больше.

Папа и Чичурин сделали несколько шагов. И вдруг папа чуть не упал. Прямо перед ним, не более чем в метре, из асфальта вытягивался стебель какого-то растеньица. Он достиг высоты сантиметров в двадцать. Уже и листочки были на нем, густо-зеленые с темноватыми прожилками. На конце стебля возник бутон, и через десять секунд перед потрясенным папой расцвел цветок. Мраморно-белый, сочный, с пятью лепестками, необычный и очень, очень красивый.

— Вот и расцвел цветочек! — крикнула Танечка и выпорхнула из-под папиной руки.

Трое других дочерей перестали изображать живую стену и тоже подошли к цветку, стараясь не наступить на белые линии мела.

— Ой, какой красивый, — прошептала Оля. — Такого еще не было. Правда ведь, девочки?

— Был, — уверенно ответила Марина. — У сто первого дома позавчера такой распустился.

— Все-то ты знаешь, — вздохнула Ира. — Энциклопедический ум!

— Вы что, серьезно, что ли, хотите сказать, что цветы вот так из асфальта и вырастают? — спросил папа.

— Папочка! — испуганно крикнула Таня. — Ты на домик наступишь!

Папочка поспешно сделал шаг назад.

— Я что-то тоже не слышал, чтобы из асфальта цветы лезли, — поддержал Игнатьева Чичурин.

— Так ведь здесь не слушать, а смотреть надо, — сказала Оля и исподлобья взглянула на взрослых: как расценят ее дерзость?

— Это космические корабли маленьких человечков, — пояснила Ира.

— Что же им, и не приземляться теперь? — недовольно спросила Марина.

— Ах, корабли звездных пришельцев, — с облегчением рассмеялся папа.

А в это время по воздуху опять чиркнула белая молния.

— Еще два домика нужно строить, — сказала Ира.

— Мы им вчера концерт устраивали, — начала Оля. — Они очень любят музыку. Просили сегодня вечером еще раз сыграть. Ты, папочка, дашь нам большой аккордеон?

— Это кто же такие «они»? — переспросил Чичурин.

— Маленькие человечки, — сказала Ира.

— Папа, разве ты их не видишь? — спросила Оля.

Папа внимательно посмотрел на асфальт. Ну что ж. Его дочери умели рисовать. Особенно старшая. А фантазии хватает у всех четверых. На асфальте были нарисованы дома, около десяти домов. Одноэтажные и двухэтажные. Из кирпича и бревен. С резными наличниками, крылечками, трубами, палисадниками, дорожками. Городок был цветной. Фантазия девочек странно и причудливо трансформировала привычные представления об архитектуре городов. Нечего было даже и пытаться понять стиль этого разноцветного городка. Это был особый детский стиль. Здесь одна стена могла быть выше другой, а крыша покрывать только половину дома, труба смешно заваливалась набок. Цветок мог быть выше дома, а маленькие смешные человечки...

Папа вдруг страшно удивился. Вот человечки-то были нарисованы не детской рукой. Фигурки застыли в самых разнообразных позах. Вот женщина, развешивающая занавески на окнах потешного домика. Садовник, поливающий клумбу. Бабушка в окружении внучат. Мужчины, собравшиеся в кружочек. Выписана была каждая морщинка на лице, каждая складка одежды. Выражения лиц были схвачены предельно реалистично.

И хотя фигурки напоминали сказочные персонажи, в их изображении чувствовалась рука художника.

— Да, я вижу, — вымолвил наконец папа. — Город у вас получился красивый. Хороший город. А кто рисовал маленьких человечков?

— А ведь действительно красиво! — воскликнул Чичурин. — По такой красоте ездить колесами было бы как-то неудобно. Чего только не навдумывает подрастающее поколение.

— Папа, ну а цветы-то хоть ты видишь? — спросила Оля, глядя исподлобья. Видно было, что она уже начинает сердиться на непонятливость взрослых. — Ведь их за последнее время столько распустилось на асфальте.

— Пойдите! — перебил Чичурин. — Я что-то припоминаю. Что-то мне последнее время мешает ездить по дорогам. Какое-то препятствие. Красное, синее, белое. В общем, цветное. Приходится руль чуть вправо, руль чуть влево поворачивать. Ну а что это такое, разглядеть нет времени.

— Это и есть цветы, — радостно сказала Ира.

— Папа, тут кругом цветочки. — Танечка снова вцепилась в локоть отца.

— Где уж взрослым обратить внимание на цветы! Они и другую-то цивилизацию не видят, — с гордым видом сказала Марина. Недаром ее называли энциклопедическим умом. Детским еще, конечно.

Папа оглянулся, заставив себя на несколько секунд забыть и свою комиссию, и совещания, и подготовку материалов к отчету, и всю эту ежедневную суету. Суету, необходимую, нужную, но все же не позволяющую ему вот так взять и просто оглядеться.

Что делалось-то вокруг!

Асфальт во многих местах горел, переливался, сверкал, искрился цветами. Самых разнообразных форм и

линий. Все цвета радуги, казалось, собрались на асфальте.

Глядя на Игнатьева, повернулся на месте и Чичурин. Вдруг он заторопился, поспешно распрощался с Игнатьевым и его дочерьми и бросился к автомобилю.

— Поехал я! Через пять минут не выберешься отсюда! А дочери твои не дадут смять ни одного цветка. Что делается...

Его автомобиль осторожно развернулся и на самой маленькой скорости, делая зигзаги и иногда даже сдвывая назад, выкатился из переуллка на автостраду.

— Эти цветы нельзя мять, — голосом учителя сказала Марина.

— Ну конечно, конечно, — поспешно согласился папа.

— Папка, — сказала Оля, — мы ведь все серьезно говорим.

— Этот цветок можно срезать и унести домой, но на его месте тотчас же вырастет другой, — сказала Ира.

— Это волшебные цветочки, — объяснила Танечка. Для нее еще многое было волшебным.

— Папа, ведь уже все, все ребяташки знают, что на Землю прилетели маленькие человечки, — сказала Ира.

— Встретились две цивилизации, а взрослые ничего не замечают. Ну надо же, — удивилась Марина.

— Они добрые, веселые, они любят музыку! А как они танцуют! — с восторгом выпалила Оля.

— Только им негде жить, — огорченно заметила Танечка.

— Постойте, постойте, — остановил их папа. — Давайте не все сразу, а по очереди. Ну хоть ты, Ира.

— Уже целую неделю на Землю прилетают корабли маленьких человечков. Когда они летят, их нельзя видеть. Только вот такие стрелы, как молнии. — Папа за-

жмурился, потому что в метре от него пронеслась огненная стрела, и на асфальте распустился ярко-оранжевый цветок. — Это их корабли, — продолжала Ира. — Так мы думаем. Когда они выходят из корабля, он превращается в цветок. Они хорошие, эти человечки. Они как будто нарисованные. А как они радовались, когда мы нарисовали им домики!

— Это рисунки и есть, — заикнулся было папа.

— Нет, нет, папочка, — перебила его Оля. — Они живые. Они двигаются, они разговаривают с нами. Это все они сами рассказали нам. А прилетели они с другой звезды, потому что там им негде стало жить. Их города раздавили автомобилями.

— Так они еще и двигаются? — удивился папа.

— Конечно, — сказала Марина. — Как они могут не двигаться, если они живые. Только они очень боятся взрослых и особенно автомобилей и замирают сразу.

— Сказка какая-то, — прошептал папа. — Скажите же им, чтобы они меня не боялись.

— Улиас, Мелла, Эльва! — крикнула Танечка. — Не бойтесь! Это наш папа!

И маленький городок ожил, наполнился движением, веселым шумом, какими-то непонятными звуками и восклицаниями. Плоские, двумерные маленькие человечки ожили в разноцветном сказочном двумерном городке.

— Они спрашивают, — перевела Ира, — позволят ли им жить здесь. Не раздавят ли их, как случилось с ними уже однажды?

— Я думаю, что не раздавят. Ведь вы не позволите?

— Нет, нет! — в один голос закричали девочки.

— А еще они просят нас устроить им концерт, — сказала Оля. — Так мы возьмем большой аккордеон?

— А донесете? — усомнился папа.

— Донесем! — снова хором закричали они.

А Танечка добавила:

— Мы же вчера донесли.

Папа только покачал головой.

— Мы над ними шефствуем, — сказала Марина. — Все девочки и мальчики рисуют им города. А потом мы посмотрим, чей будет лучше.

— Почему я ничего не понимаю из их разговоров?

— О! Этому и мы не сразу научились, — сказала Ира. — С час, наверное, времени ушло.

— Ну так мы пойдем за аккордеоном? — нетерпеливо спросила Оля.

— Пойдем. Ну и чудеса!

— Ура! Сейчас концерт для вас будет!

В двумерном городе бурно радовались маленькие плоские человечки.

Папа и его четыре дочери помахали человечкам руками и направились домой. Ребятишки всего двора рисовали смешные домики. А взрослые, не особенно вникая, отчего так тихо во дворе, просто радовались этой вечерней тишине.

Все пятеро с шумом ввалились в квартиру.

— Тише вы! — крикнула им из комнаты мама. — Тут по телевидению экстренное сообщение передают.

Папа приложил палец к губам.

— Передаем экстренное сообщение, — взволнованно говорил диктор. — Многие радиостанции Земли приняли сообщение от неизвестных разумных существ. Разумные существа, именующие себя двумерцами, просят разрешения поселиться на нашей планете и предложить в их распоряжение города, в которых они могли бы жить. Двумерцы откровенно заявляют, что несколько планет их уже не приняло, и в случае отказа они немедленно покинут солнечную систему. В настоящее время создается комиссия, которая вступит с пришель-

цами из космоса в контакт и представит на рассмотрение всему человечеству проект. Просим всех высказывать свои мысли через радио, газеты и телевидение. Предполагается, что комиссия закончит свою работу через пять месяцев.

— А вы носитесь бог знает где, — сказала мама. — Тут такие события происходят. Садитесь есть живо, а то вдруг еще что-нибудь передадут интересное.

— А мы уже... — начала было Танечка, но три сестры и папа так на нее посмотрели, что Танечка замолчала.

— Берите аккордеон, барабан, маленький аккордеон и пошли гулять, — скомандовал папа.

— Это еще что такое! А есть кто будет?

— Потом. Успеет, — успокоил ее папа.

— Пошли! Там интересно!

И мама согласилась.

Они стали собираться. Диктор снова начал читать экстренное сообщение, повторяя его в который уже раз. Взрослые во всем мире прильнули к телевизорам. А дети во всем мире, не слыша сообщения диктора, рисовали на асфальте города. Маленькие и большие, цветные и одноцветные, многоэтажные, каменные и из тростника. С клумбами, лесами, холмами и реками.

И короткие белые молнии время от времени разрезали небо, и тогда на асфальте расцветали фантастические цветы.

Но ребячьи города на асфальте все же были еще фантастичнее.



Сентябрь

Каждый год в конце сентября я беру отпуск. Меня не влечет бархатный сезон на юге, я остаюсь в Усть-Манске. Рано утром я выхожу из квартиры и спешу в лес. Что тянет меня туда? Три пыльных квартала, перезвон трамвайчиков — и город остается позади. И вот я среди берез. Они стоят наполовину голые, и ветер ежесекундно срывает с них трепетные живые листочки, которые, описывая замысловатые траектории, мягко падают на землю. Ласковый золотой дождь, золотая земля, золотое солнце и воздух. И лишь стройные молнии белых как снег берез.

Я не останавливаюсь, я иду дальше, я почти бегу,

спускаюсь в Бабий лог. Ноги пружинят на болотистой почве, я продираюсь сквозь кусты. Они еще совсем зеленые. Грязноватый, замусоренный ручей. Домики мичуринских участков на другом берегу, огороженные колючей проволокой. Мимо, мимо. К реке. Я скатываюсь с бугра, подхожу к реке, зачерпываю пригоршню воды. Рыбаки в резиновых сапогах, стоящие чуть ли не по пояс в воде, косо смотрят на меня. Я могу распугать рыбу. Тишина кругом. Только чуть слышный шепот реки, да далекий гудок теплохода, да мягкий шелест ветра в ветвях берез.

Пусть не волнуются рыбаки. Я уйду. Пожухлый Потанов луг остается позади с пустой теперь лодочной станцией, с грибами, под которыми сейчас скрываются от солнца только их собственные тени. Закрытые пионерские лагеря и случайная дворняга, которая все еще живет здесь, хотя дети давно в городе. Огромные лапы кедров, которых не страшит скорый приход зимы.

Кедровый бор выводит меня к Басандайке. За лето она почти совсем обмелела, и я перехожу ее вброд. Я с удивлением смотрю на странное смешение красок: золота и густой зелени, белых полос и могучих коричневых тонов. Они стоят вперемежку. Березы и кедры. Как юноши и девушки, приготовившиеся к танцу. Но я лишь на мгновение могу задержаться здесь. Я лезу в гору. Здесь снова пионерские лагеря. Асфальтированная дорожка над обрывом. Людей нет. Молчание. Говорит только лес. Вперед, вперед. Через поле не скошенной еще пшеницы, через овраги и разбросанные стометровыми пятнами березовые островки. Рябины, сползающие вниз по оврагу. Станные и родные, будоражащие душу. Мне легко, мне не терпится, я бегу все дальше и дальше.

Цель моего утра — Синий утес. Он возвышается

стометровой стеной над грустной Маной. Серо-синий, кое-где изъеденный ветрами, размытый дождями.

Я пришел.

И я снова встречаю ее.

Она появляется среди берез, словно ждала моего прихода. Сегодня она не машет мне рукой. И не поймешь, веселая она или грустная. Она словно плывет по желтому ковру из сухих березовых листьев. Она оставлена в пяти метрах и смотрит на меня долгим взглядом.

— Здравствуй, — говорю я.

— Здравствуй, — отвечает она.

— Значит, я увижу их?

— Ты не передумал? Еще есть время.

— Нет. Я все решил.

Она подходит ко мне и треплет волосы на макушке.

...Так было и в первый раз.

Я встретил ее здесь же. Много лет я прихожу сюда в конце сентября. Она, как и сегодня, словно возникла среди деревьев, черноволосая, в белом платье. Я посмотрел на нее. Нельзя было не посмотреть на нее хоть раз. Все равно она пройдет мимо. Все равно пройдет стороной. А она подошла ко мне.

— Тебе не холодно в таком легком платье? — спросил я. Ведь было действительно прохладно, сентябрьское солнце уже не так греет.

— Нет, — ответила она.

Мы замолчали. Да и о чем было говорить? Желтый дождь шелестел вокруг. Я и знал и не знал ее. Она была похожа на женщину, которую я любил когда-то. Только это было давным-давно.

Она пошла, и я пошел рядом с ней.

— Хорошо здесь, — сказала она.

— Хорошо.

Мы подошли к обрыву. Противоположный берег Маны был низкий, заливной, весь в озерах и старицах. Горизонт отстоял от нас километров на двадцать и терялся в сероватой дымке. Я не хотел уходить, не уходила и она. Стоять с ней рядом было радостью, и я сказал:

— Ты очень похожа на одну женщину.

— Я знаю, — ответила она.

— Ты не можешь этого знать. Это было очень давно.

— Я все знаю.

— Ты колдунья?

— Нет, нет, — испугалась она. — Просто я все знаю.

— Тогда скажи, как ее звали.

Она назвала ее имя. Назвала правильно и добавила:

— Это и мое имя. Спроси еще что-нибудь.

Я не стал спрашивать, повернулся и пошел прочь от обрыва. Мне не хотелось ее ни о чем спрашивать. Она все знала. Я поверил в это. Я не хотел вспоминать то, что каждый день старался забыть. Но она догнала меня, остановила и потрепала рукой по макушке.

— Не обижайся. Мне очень хотелось побывать здесь.

— Пожалуйста. Я не буду мешать.

— Всегда ты так. Разве дело в том, чтобы только не мешать?

— Что же еще?

Она покачала головой. И грусть была в ее глазах.

— Нарви мне букет. Я возьму его с собой.

— Сейчас уже нет цветов.

— Цветов нет, но есть листья. Разве они менее красивы, чем цветы?.. Я помешала тебе? Ты хочешь остаться один? Скажи тогда, зачем ты приходишь сюда?

Я не ответил.

— Я приду сюда завтра, — сказала она. — А ты?

— А я — нет.

— Не верю. — Она повернулась и ушла, и растворилась среди берез. И тогда я бросился за ней, но не догнал, потому что некого было догонять. Только ветер вздымал маленькие вихри листьев и бежал дорожкой среди деревьев, словно это был ее след.

На следующий день я встретил ее с букетом листьев. Я излазил все овраги, стараясь найти красивые. Красные, оранжевые, темно-желтые и светло-серые. Букет ей понравился.

— Почему ты не захотел сделать этого вчера?

— Я боялся, — честно признался я. — Боялся, что не уйду от тебя.

— Ты и тогда боялся, — тихо сказала она.

— Когда тогда?

— Когда у тебя должен был родиться сын.

— Кто может знать, сын или дочь?

— Но я знаю. У тебя родился сын.

— Нет! Ты ничего не можешь знать. Это было давно. Тебя и самой-то еще, наверное, не было тогда... Да. У меня должен был быть ребенок. Но я не захотел этого. Струсил? Возможно. Тогда было слишком трудное время, чтобы рождались дети...

— У других все равно рождались.

— Ну и пусть. Я ни о чем не жалею.

— А ты совсем не изменился.

— Ты говоришь так, словно знала меня раньше.

— Знала.

В тот день мы больше не говорили об этом. Просто бродили по лесу, загребая ногами листья, разглядывая муравейники, смеясь и радуясь солнцу и прозрачному воздуху. Я помогал ей перепрыгивать через ручьи, переносил через маленькие болотца, потому что она бы-

ла в летних туфлях. Я разглядывал ее украдкой. Да. Она была очень похожа на ту женщину, только той сейчас было бы не двадцать лет.

— Хороший был сегодня день? — спросила она.

— День был самый лучший, — искренне ответил я.

— Ты однажды уже говорил это, — погрозила она мне пальцем.

— Значит, сегодня еще лучше.

— Мне пора. Я ухожу. А завтра снова буду здесь.

— Где ты живешь?

— Там же, где и ты. — И она ушла и снова затерялась среди берез, и маленькие смерчи побежали за ней, но не догнали и успокоились, улеглись желтыми полосами.

На следующий день я сказал:

— Ты и есть та женщина, которую я когда-то любил.

— Конечно, — согласилась она. — Я — это она.

— Как можно поверить в возможность этого?

— Но ты же сам пришел к этой мысли.

— Значит, это возможно?

— У нас стало возможным. А у вас нет.

— У вас, у нас. Как это понять?

— Я расскажу. Помнишь, в вашем классе учился один мальчишка? Белобрысый, худой. Он любил стихи и плохо справлялся с физикой.

— Помню! Мы же с ним потом в одной роте служили.

— Так вот. Он стал великим физиком. Он разработал теорию возможных миров.

— Неправда. Его убили. Я был с ним рядом, когда он упал. Я вынес его, но он был уже мертв.

— Расскажи...

— Что рассказать?

— Почему его убили, почему ты остался жить...

— В разведке. Мы неожиданно увидели трех автоматчиков. Он встал передо мной. Он заслонил меня.

— Вы увидели их одновременно?

— Нет. Я чуть раньше. Он смотрел в другую сторону. Надо было нам упасть.

— Ты и сейчас так думаешь?

— Я часто думал, что мог бы заслонить его прежде, чем это сделал он.

— Почему же ты этого не сделал?

— Не знаю.

— Так вот, ты успел это сделать. *Он* вынес тебя к своим, но *ты* был уже мертв. *Ты* умер, а он остался жить.

— Нет. Все было наоборот. Ведь я стою перед тобой.

— Это здесь. А в мире, который является для вас только возможным, тебя нет.

Я поверил ей, хотя не мог себе представить этого странного мира. Мира Возможного. И отсутствие себя в этом мире я не мог представить.

Был еще день. Я просил ее рассказать мне о Мире Возможного. И она рассказывала. И мир ее был прекрасен. Не своими городами и реками, не полетами за пределы солнечной системы и радостным трудом. Он был прекрасен мыслями, чувствами и отношениями людей. Она рассказала мне про моих друзей. О белобрысом худом поэте, который стал Великим Физиком. И о других, которых уже не было на этой Земле или о которых я ничего не знал. И чем больше она рассказывала, тем явственнее я понимал, что моя жизнь была цепочкой маленьких и больших предательств, невидимых окружающим, потому что они были спрятаны глубоко в душе; цепочкой страхов и сомнений, когда нужно было действовать прямо и решительно; цепочкой недомолвок,

которые незаметно перерастали в боль и страдания других людей.

Я испугался любви к женщине, испугался, что она затащит меня в свой непонятный мне мир. И я посоветовал ей избавиться от ребенка, чтобы быть свободным. Я спрятался за спину своего лучшего друга, когда нам в лица смотрели ухмыляющиеся дула автоматов. Я не подавал руки одному человеку, когда тот в этом нуждался, посмеялся над другим, когда этого не следовало делать, я ушел, когда мне не нужно было уходить, закрыл глаза, когда нужно было смотреть еще пристальнее, чем прежде.

— Неужели все это правда? — я покачал головой.

— Правда, — сказала она, имея в виду свое, потом посмотрела на меня и смолкла на полуслове.

— Не смотри на меня так, — попросил я.

— Что с тобой? — спросила она и погладила мои волосы длинными гибкими пальцами. — Ты поседел...

На следующий день она спросила;

— Почему ты никогда не спросишь о своем сыне?

— Так он все-таки родился?

— Да, в нашем мире он родился. Ему уже двадцать лет. Он работает летчиком-испытателем и любит одну очень красивую девушку.

Она рассказывала мне о нем, а я все слушал, слушал, слушал. Мне хотелось знать о нем все. Мне хотелось видеть его. И тогда я стал просить ее, чтобы она привела его сюда.

— Это невозможно, — сказала она. — Ведь его нет в вашем мире. И он не может появиться здесь.

— А ты? Значит, та женщина еще жива, если ты здесь?

— Да. Это должно быть так. Тебе не хочется увидеть ее?

— Я боюсь.

— Ты всегда боялся.

Она ушла и не появлялась целый год. А в этом году в конце сентября я увидел ее вновь. На том же самом месте. Она нисколько не изменилась. Ей снова было двадцать лет. Я бросился к ней и прижал к себе. И она не протестовала, только заметила:

— Ты изменился за год.

Да. Она была права. За год я изменился.

Теперь я был не только слушателем, я рассказывал сам, а она смотрела на меня удивленными и радостными глазами. И глаза ее говорили: «Тебе стало лучше...» Да. Я прожил беспокойный год. Лучший год в своей жизни.

Мы рассказывали друг другу, а потом просто молчали, и желтые кружочки березового дождя падали нам на плечи.

— Ты был у нее?

— Был. Она не захотела меня видеть.

— И ты ушел?

— Нет. Я все же увидел ее. И рассказал ей все.

— Она простила тебя?

— Нет. Но она улыбнулась.

— Ты любишь ее?

— Люблю.

— Ты вернешься к ней?

— Нет. Я ей не нужен. У нее есть семья.

И был еще день. И еще. Один счастливее другого. Она возникала среди белых стволов берез, и я бежал к ней. Мы сидели, обнявшись, у самой воды, и река медленно текла у наших ног, что-то нашептывая нам, чего нельзя было понять из-за ее глубины.

— Я хочу посмотреть на ваш мир, — сказал я вчера.

— Я ждала этого. Ты не боишься?

— Нет.

— Все равно это невозможно. Тебя нет в нашем мире. И ты не можешь в него попасть. Разве что на мгновение. Но тогда ты не сможешь попасть назад. И, прожив мгновение там, ты исчезнешь, перестанешь существовать везде.

— Все равно я хочу увидеть его. И тебя, и сына, и великого физика, и всех остальных.

— Подумай. Здесь мы могли бы встречаться еще долго.

— Нет. Разреши мне все увидеть собственными глазами.

— Хорошо. Подумай хотя бы до завтра.

...Она появилась среди берез, словно ждала моего прихода. Сегодня она не машет мне рукой. И не поймешь, веселая она или грустная. Она словно плывет по желтому ковру из сухих березовых листьев. Она останавливается в пяти метрах и смотрит на меня долгим взглядом.

— Здравствуй, — говорю я.

— Здравствуй, — отвечает она.

— Значит, я увижу их?

— Ты не передумал? Еще есть время.

— Нет. Я все решил.

Она подходит ко мне и треплет волосы на макушке.

— Поцелуй меня, — говорит она. — Там будет много людей.

Мы стоим, прижавшись друг к другу, двадцатилетняя женщина и я, уже совсем седой, поседевший в один день. Я чувствую, что она не хочет меня отпускать. Ведь теперь она потеряет меня навсегда. Она отталкивает меня и шепчет беззвучно: «ЛЮБЛЮ»

— ЛЮБЛЮ, — говорю я ей.

— Подожди меня здесь, — говорит она. — Я дам тебе знак.

Она уходит все дальше, все дальше, медленными шагами, оглядываясь и останавливаясь на секунду. Обнимает березу. Может быть, ей трудно идти, или там кнопка неведомого мне аппарата.

Она оторвалась от ствола, выпрямилась, позвала меня к себе. И я пошел к ней.

Я хочу хоть на миг увидеть мир, в котором я не испугался своей любви, мир, в котором я не убил своего сына, мир, в котором я не предавал своих друзей, не прятался за их спины.

Я иду к тебе, моя молодость! Возьми меня хоть на миг!

Ветер взвывает сухие желтые листья, создавая маленькие стремительные вихри. Ветер режет лицо, сушит глаза... Я иду, и она все ближе, ближе. Остался один шаг...



Случится же с человеком такое!..

1

Жил в Усть-Манске инженер Перекурин Александр Викторович. Было ему тридцать три года, и работал он в БОТе. БОТ — это сокращенно: бюро по открытию талантов. И хотя талант не консервная банка, которую можно открыть, организация именно так и называлась. Дело, конечно, не в названии, но можно было придумать и красивее.

Бюро располагалось на проспекте Лесных Богатырей. Значилось в нем девяносто восемь человек, считая двух уборщиц, которые работали на полставки, и ди-

ректора, который частенько бывал в разъездах, делясь опытом с другими БОтами и перенимая их опыт.

Перекурин особыми талантами ни в искусстве, ни в спорте, ни в изобретательстве и рационализации не отличался, впрочем как и все сотрудники бюро. Если бюро открывает таланты, то уж в нем самом талантов, естественно, не может быть. С какой стати талантливый человек станет работать в бюро, которых в каждой области пруд пруди. Такому человеку прямая дорога в консерваторию, на стадион, в крайнем случае в хор электролампового завода.

Играл когда-то в молодости Перекурин на гитаре и пел смешные и грустные песни. Но потом повзрослел, забросил гитару. Другие дела и заботы отнимали все время, да и желания не стало.

Перекурин возвращался с работы. Настроение его было не особенно хорошим. Конец месяца, план по валу летит ко всем чертям, особенно в его секторе. Ну надо же! За один день из пятисот человек, обследованных на предмет наличия таланта, у двадцати обнаружилось задатки мастеров по шахматам и стоклеточным шашкам; у одного даже задатки гроссмейстера. И ни одного поэта, певца или композитора. Весь май так и прут будущие чемпионы мира командного, вероятно, первенства. Для личного что-то уж больно их много.

Сектор искусства, которым заведовал Перекурин, лихорадило. Срочно через родных и знакомых передавались приглашения зайти в бюро людям, которые писали стихи хотя бы для стенных газет или были запевалами на праздничных вечеринках. Все было напрасно. Может быть, в машине что-то разладилось? Так нет! Перекурин лично проверял все ее блоки, тщательно сверяя с картами напряжений и сопротивлений. Даже в качестве эталона сам присоединялся к машине. И ма-

шина дала совершенно правильный ответ, не обнаружив у Перекурина никаких талантов.

Александр подошел к дому, в котором жил вот уже пять лет, и остановился поговорить с одним своим знакомым, который приходил с работы рано и жадно ловил у подъездов собеседников, так как не мог выговориться, хотя говорил без передышки вот уже лет тридцать с лишним.

— Здравствуй, Саша! — сказал знакомый. — А ты знаешь, как на Урале краску для полов делают? Ведь эта-то, которая из магазина, — ерунда одна. Ею хоть крась, хоть не крась. А на Урале краску делают из глины. Наливают в бочку воду, сыпают туда же мешок глины и начинают размешивать. Потом воду сливают, наливают чистой и все сначала.

Воду в бочке меняли уже в семнадцатый раз, и Перекурин затосковал: сложноватая все-таки технология... И вдруг что-то, как будто насильно, заставило его повернуть голову вправо. У подъезда стояла женщина, невысокая, в коричневом плаще и черных туфлях. Ее темно-рыжие волосы были уложены на голове в какую-то странную, но очень идущую ко всей ее фигуре прическу. Она держала за руку девочку лет четырех и разговаривала с женщинами.

Александру стало не по себе. Он испуганно соображал: что же случилось? Ему неудержимо захотелось подойти к этой женщине и поцеловать ей руки, а потом закрыть этими руками свои глаза... Дальше Александр уже не думал. Все смешалось в его голове. Он знал наверняка только одно, что не подойдет к ней и уж, конечно, не поцелует ей руки, ведь кругом соседи, а сверху еще, поди, и жена смотрит с балкона.

Знакомый все еще перемешивал глину в бочке.

Женщина нечаянно посмотрела в его сторону и

улыбнулась. Не ему, не Перекурину, конечно, а просто так. Что-то в разговоре с женщинами заставило ее улыбнуться. Лишь мгновение вот так смотрела и улыбалась она, и Перекурин понял, почувствовал, что спокойное течение его жизни кончилось. Не лицо, не фигура поразили его дремавшее много лет сердце. Что, он и сам бы не мог объяснить.

Александр попытался представить себе, что увидела она, если хоть на миг задержала на нем свой взгляд. Высокую фигуру в черном плаще, заметно сутулую, особенно когда он старался быть стройным? Начинаящие редеть короткие черные волосы? Что за нелепый вид! Перекурин покраснел и бросился в свой подъезд мимо ошеломленного знакомого. Взлетев на свой этаж, он скинул с себя плащ, погода-то на улице была солнечная, хотя и нежаркая.

— Тебя чем-то стукнули по дороге домой? — весело спросила его жена. У нее было хорошее настроение. Она немного подумала, подождала, когда Сашка что-нибудь ответит, и чмокнула его в щеку, проговорив:

— Сашка, вынеси-ка мусор. Машина, наверное, уже пришла.

— Ага, ага, — пролепетал Сашка, схватил ведро, тотчас же поставил его снова, потянулся за плащом...

— Солнце же на улице! — сказала Машенька. — Ну и видик у тебя. Принцессу, что ли, увидел, или премию обещают?

А ведь действительно премию-то за первый квартал подписали!

— Вот-вот. Будет премия. Я сейчас. — И он решительно схватил ведро, выбежал на площадку, скатился вниз по лестнице, вынырнул из подъезда, как бы нечаянно замешкался, чтобы оглядеться.

Ее уже не было.

Перекурин покачал головой. Показалось, что ли? А если и нет, то все равно ее теперь не увидишь. Живет она уж наверняка не в этом доме. Впрочем, он мало кого знал из жильцов. Только сослуживцев да еще нескольких человек. У подъезда стоять просто так, от нечего делать, ему и в голову не приходило. А в домино он не играл и поэтому никогда не занимал место на скамейке за столиком возле чахлой березки. С работы на работу, в магазин, в кино, на футбол. И времени-то нет осмотреться, вечно опаздываешь. В лес соберешься в воскресенье с семьей и то бежишь сломя голову, потому что уже десять часов, а до леса еще нужно добраться, разжечь костёр, сварить уху из заранее приготовленной рыбы и успеть на обратный автобус, чтобы не тащиться пешком.

Нет. Никогда он не видел этой женщины раньше. А вдруг и не увидит? Перекурину захотелось все бросить и побежать по улице, догнать ее, расспрашивать прохожих, заглядывать в окна магазинов и автобусов, останавливаться на перекрестках, ждать, надеяться, случайно встретить и на ее глазах совершить подвиг. На меньшее, чем подвиг, он сейчас не был согласен. Понимал Перекурин, что все это смешно и нелепо. Понимал и сам смеялся над собой. И где-то в глубине души думал: хорошо, что она ушла. Иначе бы его мир и покой были взорваны. Ушла, и теперь грустно, потому что все останется по-старому. Вот и разберись в себе!..

Шофер мусорницы нетерпеливо нажал на сигнал и этим возвратил Александра в привычный, до мельчайших подробностей известный мир мелких и больших забот, мусорного ведра, ужина, телевизора, серого здания из бетонных панелей, давно надоевших разговоров и развлечений.

Весь вечер он был молчалив, отвечал на вопросы

невпопад, и жена решила, что премия, по-видимому, будет крупная. Это оправдывало поведение Сашки. На очереди была покупка шифоньера с зеркалом, и тут было от чего задуматься.

А вечером «Спартак» выиграл, правда 1 : 0, у «Торпедо», и качество изображения телевизора при этом было хорошее. В Усть-Манске разница во времени с Москвой на четыре часа, и матч кончился поздно. Дочь, сын и жена Машенька уже спали. Перекурин, взволнованный победой «Спартака», пришел в хорошее настроение, разделся, лег под теплый бок что-то проворчавшей жены, закрыл глаза и увидел маленькую женщину с темно-рыжими волосами.

Утром он встал раньше, чем зазвенел будильник, потому что ночью так и не уснул.

2

На работу он пришел, как всегда, за десять минут до начала, надел белый халат, проверил напряжение в электросети, включил на прогрев математическую машину, дал указание своим помощникам, чтобы четче организовывали работу, разложил в зале ожидания свежие газеты и журналы, пожурил техника Косолапина за то, что тот опять пришел без галстука, и сел за пульт машины.

Но сегодня его не волновало, сколько будущих талантов откроет он. И это тревожило, так как он привык относиться к работе с душой, бился за каждый процент вала, переживал все срывы и падения своего бюро, утешал плачущих людей, у которых не только талантов, простой одаренности не обнаруживалось.

Вот уже пять лет, как проверка на талантливость

стала обязательной для каждого гражданина и гражданки и даже детей старше шести лет. Талант дело государственное, а не просто личное, и никто не имеет права скрывать свою одаренность. С футболом вот в стране дела никак не ладятся. А вдруг какой-нибудь товарищ Иванов на самом деле второй Пеле, но сам этого не знает, потому что ему мама не разрешала в детстве играть в футбол, чтобы зря не рвал ботинки?

Приглашения на осмотр рассылались один раз в квартал, потому что если у вас сегодня нет таланта, это еще не значит, что он не прорежется через месяц или год.

Работа у Перекурина была хлопотливая. В двадцать мягких и удобных кресел садилось сразу двадцать взволнованных мужчин или женщин. К вискам каждого крепились параметрические датчики, затем люди погружались в приятный гипнотический сон, и гигантская математическая машина с гибкой программой, которая подсознательно задавалась самим осматриваемым, анализировала способности человека. В конце осмотра каждому человеку задавалось несколько сложных стандартных тестов. Результат бывал известен уже через пять минут.

И вот тут-то и начиналось самое трудное, потому что некоторые люди никак не хотели согласиться с тем, что у них отсутствует талант хоть к чему-нибудь. Одни требовали жалобную книгу, другие предъявляли справки о талантливости своих предков и потрясали картами генеалогических дерев, третьи требовали повторного испытания. Да и те, у которых была обнаружена одаренность, создавали много шума и хлопот. Одни требовали, чтобы им дали направление в консерваторию, обязательно в Москву или Ленинград, другие спрашивали, где мож-

но купить орфографический словарь, — это были потенциальные поэты или прозаики.

Словом, хлопот у Перекурина был полон рот и вся голова в придачу. Он, бывало, так закручивался на своей работе, что забывал про обед. А в детский сад за сыном Андрюшкой он опаздывал настолько часто, что Машенька была вынуждена взять эту заботу на себя.

Но сегодня что-то раздвоилось в его сознании. Он по-прежнему делал все, что нужно, успевая и поговорить, и успокоить, и проверить, и выслушать анекдот. А перед глазами все стояло удивительно необходимое, милое и дорогое лицо увиденной случайно женщины. И чем больше он хотел избавиться от этого наваждения, тем явственнее, отчетливее и объемнее он видел ее. А через час после начала работы он поймал себя на том, что разговаривает с этой женщиной, нисколько не смущаясь, как с хорошей знакомой. Он, конечно, понимал, что это только плод его воображения, но разговор получался такой складный и интересный, что в конце концов Перекурин во все поверил.

С этого дня началась его странная жизнь. И если раньше он мог думать только о чем-то одном и даже малейший шум сбивал его с мысли, то теперь мысли его текли по двум независимым каналам. И даже оживленно разговаривая с друзьями по работе, он в то же время говорил этой женщине о любви.

О любви! Перекурин догадался, что говорит об этом уже давно, и это его насторожило, испугало и обрадовало. Он, конечно, ни на секунду не забывал, что он женат, что они никогда не ссорились с женой, что у них в семье все просто, весело и легко. И ребятишки чудесные. Старшая Леночка — третьеклассница, а Андрюшке — пять лет. Несколько раз он говорил себе: «Все!

Хватит! Выдумал, придумал, теперь давай развыдумаем назад».

Но что-то в его душе или сознании отказывалось подчиняться его приказам. Мысли его начинали переворачиваться, скакать как угорелые, сбиваться и путаться. И снова перед глазами вставало лицо этой женщины, и в сердце возникала какая-то стремительность, радостное нетерпение мучило его, комната с пультом раздвигалась, вбирая в себя весь мир, состоящий из музыки, деревьев, цветов, детей и странно красивых и симпатичных ему людей.

И Перекурин чувствовал, что в его душе все начинает петь. В голову приходили такие слова, что вторая, знакомая и привычная, половина сознания только ахала от удивления.

После обеда Перекурина вызвал к себе директор и устроил разнос. Александр ни в чем не был виноват. Но и директора нужно было понять. Месяц кончился, а план в секторе Перекурина так и остался невыполненным. Директор кипятился, размахивал руками и вообще старался казаться грозным и страшным. На какую-то секунду он оторвался, вышел из этой своей роли и взглянул на начальника сектора искусства. Тот слушал, старательно смотрел в глаза своему шефу и... улыбался.

— Черт знает что такое, — тихо сказал директор и успокоился.

— У нас же план дается по среднестатистическим данным, — сказал Перекурин. — В июне нагоним, если теория вероятностей чего-нибудь не напутала.

— Теория — это одно! — твердо сказал директор. — А двадцать теноров в хор мы так и недодали.

Надо сказать, что у директора была одна идея, которой он отдавал много рабочего времени и собственных сил. Директор хотел, чтобы Усть-Манск занял пер-

вое место, ну хотя бы в Сибири, по количеству талантов на душу населения.

— Может, в июне... — начал было Перекурин.

— В июне, в июне, — передразнил директор. — Городской смотр на носу. Фестиваль «Белые ночи Усть-Манска». Вечно с твоим сектором что-нибудь происходит. Ну что ты улыбаешься! Не можешь найти таланты, пой сам! Стихи пиши и сочиняй музыку!

— Я, — подавился смехом Перекурин, — петь...

Директору и самому стало смешно, но он все же сказал:

— А что, честь города превыше всего. Если Марград нас обскочет на межобластном смотре, то смотри тогда. Вот ведь с шахматами и бегом на стометровку у нас здорово, ничего не скажешь.

— А что... я хоть сейчас могу попробовать.

И снова Александр увидел перед собой лицо женщины, улыбающееся и доброе. Ему стало стыдно, он поднялся со стула и молча вышел из кабинета. Директор покачал головой и сказал сам себе:

— Вот это дела...

Когда уже нет никаких возможностей выполнить план, начальник тоскливо успокаивается. Успокоился и директор. И Александр успокоился. Да он особенно и не волновался, надеясь на среднестатистические данные.

Он шел в хорошем настроении, а когда завернул за угол своего дома, то внезапно снова увидел ее. Такую же, как вчера. Она стояла с сумкой в руке, в которой была булка, молоко в бутылке и еще какие-то свертки.

Перекурин запнулся на ровном месте и, хотя на него никто не смотрел, покраснел и стремительным шагом прошел мимо.

Пролетел месяц, и теперь он почти каждый день видел ее вечером разговаривающей с женщинами или

просто гуляющей с маленькой черноволосой девочкой. Он подолгу простаивал на балконе, выкуривая сигарету за сигаретой, с радостью по нескольку раз за вечер бегал в ближайший магазин за покупками, потому что в таком случае, если судьба была к нему благосклонна, он мог пройти мимо этой женщины, не осмеливаясь, правда, поднять головы и с трудом подавляя в себе желание подойти к ней и заговорить. В этом не было бы ничего особенного. Сотни людей подходили друг к другу и разговаривали, хотя раньше никогда не были знакомы. Ведь у жильцов многоэтажного дома были общие интересы, заботы и мечты. Но Перекуруину все время казалось, что, подойди он к ней, и все поймут, что здесь что-то не так.

Он по-прежнему не знал ее имени, в какой квартире она живет, как ее фамилия. И ни у кого он не спрашивал об этом, не желая делиться своей тайной даже с самым близким другом. А однажды он увидел ее на балконе развешивающей разноцветные платья своей дочери. И балкон-то ее был совсем рядом, всего-навсего через один соседский.

До него наконец дошло, что она живет в этом доме уже давно, с самого первого дня, как его заселили, что он наверняка сотни раз проходил мимо нее, и все в его сердце оставалось спокойным, и что его нескладная фигура, возможно, уже примелькалась этой женщине, и теперь он уже ничем не сможет привлечь ее внимания.

3

В июне надежды Перекурина на то, что дела его сектора пойдут лучше, оправдались. Статистика все-таки не подвела. Александр свято верил в нее, хотя теперь

ему почему-то казалось, что дело не в теории вероятностей, а в белых ночах, когда до самого утра по улицам бродят слегка подвыпившие компании с гитарами и совершенно трезвые парочки, не замечающие ничего на свете. Он и сам бродил по ночам, испытывая страшное чувство тоски и радости.

Несколько раз он со скрупулезностью ученого пытался проанализировать, что же с ним происходит. Но та, первая, привычная половина сознания относилась к этому желанию совершенно равнодушно, не проявляя ни малейшего интереса к душевным мукам Перекурина, а вторая, вызванная к жизни случайным взглядом совершенно незнакомой женщины, была в состоянии такого полнейшего восторга, что отказывалась членить себя на логические составляющие, и, обратившись к ней, Александр всегда слышал одно и то же: «Хочу любить!»

В начале июля жена с сыном и дочерью уехали к бабушке в Марград.

И теперь он совершенно потерял душевное равновесие. В доме не с кем было поговорить, и этим привычная половина сознания как бы выключалась совсем. Оставалась та, которая медленно сжигала его мозг. Он твердо решил поговорить с этой женщиной и принес домой с работы материалы для полугодового отчета, чтобы выкинуть эту фантастическую мысль из головы.

Он мог просто и неназойливо заговорить с любой женщиной в автобусе, в магазине, на улице, мог взять женщину под руку, так что это совершенно не обижало ее, и проводить до ближайшего угла, а там сказать что-нибудь смешное, распрощаться и тут же забыть все.

Но с ней поступить так он не осмелился бы, потому что с губ могло сорваться: «Я люблю тебя!»

Однажды в воскресенье в полдень он как угорелый выскочил на балкон, очень желая ее увидеть. И уви-

дел. И тогда впервые в жизни Перекурин сочинил стихи. Стихи с профессиональной точки зрения были, конечно, неважные, прямо скажем, плохие, без рифм и размера. Это просто был какой-то сдавленный крик. Он не сделал никакого усилия, просто вдруг отчетливо и ясно представил себе, как он дотронулся до ее голого плеча, как она вздрогнула и ушла в квартиру, наивно полагая, что это нажгло ее солнцем. И никогда-никогда она не узнает, что это он, а не солнце, прикоснулся к ее телу.

Перекурину стало так тошно и тоскливо, что он бросил работу и пошел к своему лучшему другу Ивану Гордцову. У того сидел только что пришедший в гости Анатолий Степкин. Все трое они работали в одном бюро, у всех троих женщины уехали отдыхать. Такое совпадение удивило их лишь на миг, а через минуту они уже уверенно продвигались к магазину, беспокоясь только об одном, как бы его не закрыли на обед.

Они взяли по бутылке сухого вина и пошли в квартиру Перекурина. Закусок у него, естественно, было хоть шаром покати, стаканы же нашлись.

Разговаривая на производственные темы, покуривая сигареты, они не спеша потягивали кисловатый рислинг. А когда пустые бутылки были составлены в угол, все захотели вдруг есть и начали шарить на кухне. Им повезло. В ящике для овощей была найдена картошка. Сварили ее, не чистя, а Перекурина послали в магазин за хлебом и кабачковой икрой. Александр выполнил все поручения, а на обратном пути на автобусной остановке увидел рыжеволосую женщину с девочкой. Он прошел мимо с независимым видом, подкидывая в руке булку, и остановился. Подойти или не подойти? И он круто повернулся и подошел.

— Здравствуйте, — сказал Перекурин.

— Здравствуйте, — ответила женщина, улыбаясь.

А девочка уцепилась за мамину руку и начала скакать на одном месте, выражая свое явное нетерпение. А улыбка у этой женщины была такая ласковая и открытая, что Александр подумал: этой женщине никто никогда не осмеливался говорить пошлости.

Они стояли друг против друга и улыбались, а девочка все прыгала, дергая маму за руку. На улице было солнечно, но не жарко. Ветер гнал по небу легкие облачка. На остановке никого не было. Она молчала, потому что не знала, зачем подошел к ней этот чудаковатый жилец из соседнего подъезда. А у него язык не поворачивался от радости.

— Почему мама рыжая, а дочь черная? — вдруг брякнул Перекурин, но женщина не обиделась, прижала к себе девочку и, слегка рассмеявшись, сказала:

— Это все чудеса химии.

— Меня зовут Александр, — осмелел Перекурин. — А вас?

— А меня — Мира.

— Как — Мира?! Просто Мира?

— Мира.

— Мира — это значит весь мир! Ведь так?

Она засмеялась и пожала плечами.

— А ваша фамилия? Я здесь многих парней знаю. Может быть, и вашего мужа знаю.

— Серегина.

— Серегина? Так ведь это значит, ваш муж известный поэт? Я его знаю. Он бывал у нас в бюро.

— Бывал и потом здорово ругался.

— Интересно. Так это вам я однажды не уступил такси?

— Такси? Это четыре года назад?

— Да, да. Четыре года уже прошло.

— А я и не знала, что вы там были. Сергей рассказывал, что там был Гордецов. Он ваш друг?

— Да. Мы знакомы лет десять.

Она помолчала и, глядя в сторону, сказала:

— Так, значит, это были вы...

— Да. Я.

Женщина оглянулась. Подходил автобус.

— Извините, наш автобус, — сказала она.

— А куда вы едете?

— В лес...

— А где же ваш папа?

— Мы этого не знаем...

— Возьмите меня с собой!

— С булкой? Вас там друзья ждут. Идите.

— Откуда вы знаете?

— Это же видно.

Подошел автобус, и женщина с девочкой сели в него. Автобус покатил дальше. Перекурин постоял еще немного, глубоко вдыхая воздух, чтобы хоть немного успокоилось сердце.

В кухне на столе уже дымилась картошка. Перекурин молча открыл банку, нарезал хлеба. Анатолий Степкин пытался затянуть арию. У него была способность к пению, была и справка из БОТа, удостоверяющая это. Вот только еще бы стаканчик вина, чтобы талант раскрылся полностью. Иван Гордецов, прирожденный остряк, начал подшучивать над Перекуриным по поводу его молчания.

— Что случилось, Саша? — спросил он. — А я знаю, что случилось. Саша встретил на улице женщину и никак не может опомниться от ее красоты.

— Откуда тебе это знать? — буркнул Перекурин, а в душе испугался: вдруг Гордецов догадается. Ведь

шутками изведет, растрезвонит на весь город, потому что не поверит, что все это серьезно.

— Тут и знать нечего. Что тебя еще может выбить из колеи?

Он сказал это просто так, чтобы подразнить Перекурина, и поэтому Александр ничего не ответил. Степкин вдруг засобиравшись в театр слушать оперу. В Усть-Манске в это время действительно гастролировали артисты из Бурятии. Перекурин отказался идти в оперу. Гордцов пошел домой. И Александр не стал их задерживать, потому что хотел остаться один.

Он еще с полчаса посидел на кухне, потом вышел из квартиры и направился к троллейбусной остановке. Он должен был сегодня увидеть Миру еще раз.

Перекурин вымеривал квартал шагами часа четыре, выкуривая одну сигарету за другой.

Они приехали уже под вечер, и Перекурин чуть было не просмотрел их, потому что в это время стоял на углу улицы, далеко от остановки. Он догнал их и сказал:

— Я ждал вас тысячу лет, а автобус все не привозил вас. Тысячу лет, ведь это страшно долго.

— В лесу так хорошо. Если бы не вечер, мы бы еще остались там.

— Не уходите, поговорите со мной.

— Вы соскучились по женщине. Вот приедет ваша жена, и у вас все пройдет. И вам не захочется говорить со мной.

— Нет. Жена тут ни при чем. А откуда вы знаете, что она уехала?

— Ее не видно уже недели две.

— Погуляйте со мной. Ведь на улице так хорошо. Давайте погуляем возле дома.

— Чтобы все видели это?

— А вы боитесь? Боитесь, что про вас будут говорить всякую ерунду?

— Нет, не боюсь. Но только зачем мне это? Это ведь с вами что-то случилось. Затосковали по жене. А со мной ведь ничего не случилось. Да и потом ваша дочь выше меня ростом.

— Да, она у меня большая.

— Что она-то подумает? Ирочка, пошли домой.

— Вас ведь никто не ждет дома. Я был у вас. Никто не отвечает.

— Так вы уже и домой ко мне сегодня приходили?

— Приходил. Хотите, я покажу стихи. Я написал их вам.

Перекурин забыл, что ее муж первый поэт города Усть-Манска. Он готов был сейчас сделать все, чтобы хоть еще немного задержать ее, видеть лицо, и странную прическу, и улыбку. Ведь она все время улыбалась. И снова ее улыбка была доброй и ласковой. Нет, она не сердилась на Перекурину. Просто она хотела, чтобы он опомнился. Ну случилось что-то с человеком. Так ведь пройдет! А ему самому потом будет неудобно.

— Не нужно. Завтра вы уже не захотите этого. Ведь вы выпили сегодня. Вот у вас воображение и разыгралось. До свидания. Все у вас будет хорошо. Ирочка, пошли домой.

И она ему улыбнулась грустно, как бы говоря: «Ну не дурите, пожалуйста. Возьмите себя в руки».

Ах, милая женщина! Как взять себя в руки? Как заставить себя не думать о вас? Как сделать, чтобы ваше лицо, спокойное, улыбающееся и чуточку грустное, не стояло все время перед глазами? Как выбросить вас из головы, из сердца?

А надо ли все это делать?

Женщина ушла, ведя пританцовывающую девочку за руку.

«Хочу любить», — сказал сам себе Перекурин, обогнул дом с другой стороны и вошел в свой подъезд.

Он, конечно, был слегка пьян. И очень жалел, что выпил. Ведь она могла подумать, что это вино в нем заиграло. Нет, ему нужно было еще раз увидеть ее. Ведь кроме пустой ерунды, он так ей ничего и не сказал. А сможет ли он подойти к ней завтра? Когда он скажет, что любит ее? Только сегодня, только сегодня.

Перекурин взял ручку, лист бумаги и написал свое нелепое, смешное, но искреннее стихотворение. Вложил лист в конверт, надел пиджак, вышел из квартиры, спустился вниз, подошел к соседнему подъезду и, не глядя на женщин, стоящих там, поднялся по лестнице и постучал в дверь.

На площадке было темно. Дверь открылась, и Мира вышла на порог, освещенная лампочкой, горевшей в передней. Маленькая, она была едва ли до подбородка ему, в домашнем халате и тапочках, спокойная и гордая. Не просто гордая, а доброжелательно-гордая. Такая уж она была. Она не удивилась, а только сказала:

— Вы еще не спите?

— Простите, пожалуйста, — пробормотал Перекурин и протянул ей конверт. — Все. Я не буду вас больше беспокоить.

А как ему хотелось задержать ее! Прижать к своей груди и увидеть ее глаза совсем рядом.

— Ну вот, вы уже начинаете делать глупости, — сказала она, но конверт взяла. — А если бы Сергей был дома? Что бы он сказал?

— Я как-то не подумал об этом. Простите. До свидания.

Он повернулся и медленно пошел вниз, вздрогнув, когда позади захлопнулась дверь.

4

А на следующий день вечером приехала жена с ребятами. Привезла рюкзак яблок, помидоры, письмо от матери, новую рубашку — тоже подарок матери. Ребятишки загорели, а Андрюшка так даже, кажется, заметно порос. Он сразу же бросился к отцу, повис у него на шее, болтая ногами, взахлеб выкладывая интереснейшие события, участником которых он был. Ох, что это были за события! Охота на ежа в лесу! Рыбалка! Прятушки! Сыщики-разбойники! Всего и не перескажешь.

Леночка — совсем уже взрослая девочка — серьезно сказала:

— Папка, на следующий год ты тоже поедешь с нами. У бабушки, конечно, хорошо. Но с тобой все-таки лучше.

— Ну что же, — сказал папка, — поедем, если отпуск будет летом.

— Ну как ты тут жил без нас? — спросила Машенька. — Что ел? Готовил хоть сам-то? О, да тут у тебя целый склад, — добавила она, увидев в углу три пустые бутылки.

— Да это мы вчера с Гордцовым и Степкиным. А что же вы даже телеграмму не дали? Я бы встретил. И холодильник совсем пустой.

— Телеграмму мы не дали нарочно, чтобы посмотреть, что ты тут делаешь, — сказала Машенька, и сразу стало понятно, что они не дали телеграмму, чтобы

не беспокоить его. Сами ведь хорошо добрались. — Ну а насчет еды сейчас что-нибудь придумаем... Ох и пыли у тебя кругом! Генеральную уборку сегодня делать будем.

За ужином Маша, Леночка и Андриюшка наперебой рассказывали о своих впечатлениях. Перекурин не знал, кого и слушать. Ему было хорошо и уютно среди них. Он закурил сигарету и уселся в кресло.

Много ли нужно человеку для счастья?

Машенька такая красавица, высокая, все еще стройная и изящная. Всегда спокойная, веселая. Все хорошо в семье. Вот только почему даже сейчас, слушая их, он снова видит перед собой лицо этой женщины? Она грустно улыбается и говорит: «Ну не дурите, пожалуйста. Все у вас будет хорошо».

Перекурин покачал головой. Покоя больше не будет. Покой взорван. За свою странную любовь он теперь ежесекундно будет расплачиваться муками, разрывая свою душу и сердце между семьей и этой женщиной, стараясь не обидеть Машу, стараясь любить ее. Стараясь... И, странное дело, он не чувствовал себя виноватым перед женой. Ведь его неверность родилась в его сердце. Сердце, которое неподвластно доводам рассудка.

Жена вдруг сказала:

— С тобой что-то случилось, Александр? На работе что-нибудь?

— Нет, нет. У меня все хорошо. Все совершенно хорошо.

— Ну и слава богу! Давайте-ка приберем квартиру. Перед сном они все четверо пошли погулять.

У своего подъезда, как всегда с девочкой, стояла Мира. Она разговаривала с соседками. Перекурин почувствовал, что она увидела его. И его жену, и детей.

Он был уверен, что она не поздоровается первой, не потому, конечно, что боится. Бояться ей было нечего. Ей было просто интересно, как поведет себя он сейчас, окруженный семьей и совершенно трезвый. А Перекурин не смог произнести ни слова. Ему нужно было сказать хотя бы: «Здравствуйте». Но он не сказал и этого. Он прошел мимо, проклиная себя за трусость, униженный этой трусостью, стыдясь своей трусости.

Она и вчера не приняла его всерьез. Просто ему было скучно. А теперь. Ну что теперь-то она о нем подумает? Поволочиться вздумалось пьяному мужику? А теперь от стыда глаз поднять не может от земли? Ну будь мужчиной. Поздоровайся! Ведь как ты вчера ждал ее! Все бы для нее сделал! Ног под собой не чуял от радости, что услышал ее голос, узнал имя.

Перекурины завернули за угол здания, и Александр не видел, что Мира почти тотчас же ушла в подъезд.

...Целую неделю Перекурин не видел ее, не везло ему, не пересекались их дороги. А желание видеть ее, говорить с ней переросло всякие пределы, и он мог постучать в ее квартиру и сказать: «Поговорите со мной немного. Не могу я жить, не видя вас».

А когда он снова случайно встретил ее возле дома, то опять не поздоровался, настолько растерялся от неожиданности, и прошел мимо, но через десять шагов остановился, догнал ее и чуть слышно сказал:

— Мира, здравствуйте.

— Здравствуйте, Александр.

Ох, какой у нее сейчас был повод отчитать его, посмеяться, отхлестать по щекам несколькими насмешливыми словами. Ну хотя бы язвительно улыбнуться.

— Мира, я хочу говорить с вами и видеть вас. Я сошел с ума, это верно. Захотите и вы поговорить со мной... когда хотите, в любое время.

— Вам нужно выговориться, — сказала она и снова улыbnулась, добродушно, нисколько не смеясь над ним.

На мгновение Александр ужаснулся. Ведь сейчас она сможет сделать с ним все, что захочет. Только одно слово, и он пойдет за ней, ни о чем не спрашивая. А дальше будет еще хуже, он это уже чувствовал. Вот только она ничего не захочет, ей ничего от него не надо.

— Да. Нет, нет. Просто говорить и видеть вас.

Она чуть заметно покачивала головой и смотрела на него, словно говорила: «Как же мне вам помочь?»

— Хорошо, приходите ко мне на работу перед обедом. Я работаю в управлении главного архитектора. Знаете, где это?

— Знаю. Я обязательно приду.

— В понедельник... А с виду вы так похожи на добропорядочного, положительного главу семейства. Если выходите, то только с детьми или с женой. Серьезный, спокойный... словом, добропорядочный.

— Ах, нисколько я не добропорядочный. У меня в голове все перепуталось. Я и на балкон-то выхожу с одной только мыслью — увидеть вас.

— А я и сама хотела поговорить с вами или написать вам. Вдруг бы вы получили от меня письмо?

— Это было бы чудо...

— А ваша жена прочла бы его...

Перекурин прикусил губу.

— Я очень хотела написать вам что-нибудь в таком же духе, как и вы, только позлее.

— Да, глупо. — Перекурин затосковал, стыдно ему было сейчас.

— Приходите в понедельник, около часа. А сейчас идите домой. Ваша жена смотрит на нас с балкона. До свиданья. — И снова она улыbnулась ему той же улыбкой. С ума можно было сойти от этой улыбки!

Машенька не спросила его, с кем это он разговаривал. Мало ли у Александра знакомых. Если нужно, сам скажет, если нет — значит пустяки.

Ну что он мог рассказать ей? Тут и себе-то ничего не можешь объяснить, не то что Машеньке.

5

Перекурину в этот понедельник хотелось петь с самого утра.

Погода была пасмурная и прохладная. В бюро по открытию талантов все шло своим чередом. Александра вызвали к директору. И он уже знал зачем. План, провалился он пропадом, снова срывался. Директор был не один. У него в кабинете сидел представитель из главка. Значит, дела Усть-Манского БОТа шли плохо.

Ну что мог сказать им Перекурин? Что таланты в Усть-Манске иссякли? Или машина испортилась? Или снова напирать на среднестатистические данные?

— Разрешите мне уйти, — попросил Перекурин. — Я подумаю и соберусь с мыслями.

— Хорошо, — сказал директор. — А мы тут пока бумагами займемся.

...К управлению главного архитектора Перекурин пришел на полчаса раньше, походил возле подъезда, потом зашел внутрь, нашел комнату, где работала Мира, спросил Серегину, но ее на месте не оказалось, она уехала на какой-то объект. Перекурин испугался, а вдруг она забыла, вдруг пошутила. Нет, не могла она пошутить. Он взглянул на часы, до обеда оставалось еще минут двадцать. Это его чуть успокоило. Он снова вышел на улицу и начал неторопливо расхаживать возле подъезда. Неторопливо — это внешне. А что твори-

лось в его душе?! Как загнанный зверь метался он в своих мыслях. Он не знал, что скажет ей. Ему нужно было только одно: увидеть ее. Увидеть близко.

Перекурин заметил ее метров за сто. Она шла тихо, она никуда не торопилась. Увидев его, не прибавила шагу, не выразила на лице ни удивления, ни озабоченности, ни неприязни, Словом, ничего. Просто она подошла к знакомому и спокойно ответила, когда он поздоровался:

— Здравствуйте, Александр.

— Я думал, вы не придете, забыли, — растерянно сказал Александр.

— Но ведь обед еще не начался. Я не опоздала.

— Все верно. Просто я думал, что вы не придете.

— Я выйду минут через пять. Подождите меня здесь.

Она ушла, а Перекурин вдруг совершенно успокоился. Да и чего ему было волноваться? Он знал, что будет дальше.

Он подождал ее на углу. Она была в серой юбке и голубой теплой кофте. С утра-то ведь было холодно. А сейчас тучки разошлись и слегка парило. И ей, наверное, было жарко в этой кофте. Ее черные туфельки спокойно отстукивали по асфальту.

Они перешли через улицу и нашли на сквере свободную скамейку.

— Так о чем вы хотели поговорить со мной? — спросила Мира.

— Ни о чем. Я хотел не поговорить с вами. Я хотел говорить с вами. Понимаете, просто говорить. Видеть вас. Слушать...

— Так говорите, просто говорите...

— Почему мне все время хочется расцеловать вас? Ведь я вас совсем не знаю.

Она кивнула, не глядя на него:

— Я это чувствую...

Он вдруг замолчал, смутился.

— Простите, Мира.

— Ничего. Говорите, говорите.

— О чем говорить. Голова пуста. Только одно и осталось: видеть вас.

— Это ничего. Это пройдет... Расскажите, какой вы были в детстве.

— В детстве? — удивился Перекурин. — О чем же тут рассказывать? Был как все. На лыжах бегал, на коньках. Мы тогда на валенки коньки привязывали. Да и стадионов-то не было.

— Я тоже любила кататься на коньках. Я даже в секции фигурного катания занималась. Мне так нравилось на льду, особенно ночью, когда тепло и снег. Снег весь звездочками, мягкий и ласковый. А вот на лыжах я не любила бегать. Просто ходить по лесу, не спеша — хорошо.

— А у вас есть лыжи? Вы ходите теперь зимой в лес?

— Нет. Но нынче собираюсь начать. Уже и Ирочку можно учить ходить на лыжах.

— А мы с Леной давно ходим. И Андрюшка пытит как паровоз. Пытит, а в гору лезет. Вывозится весь в снегу, на сосульку похож. А из лесу не уведешь. Это в воскресенье. А по субботам, я хожу один. Побегать хочется. С гор покататься. Чтобы ветер свистел, и чтобы слезы из глаз, и чтобы дух захватывало.

Они проговорили с полчаса. Перекурин и не заметил, как пролетело время. И говорить было легко, и слушать, и вспоминать. И лицо ее, Миры, в полупрофиль, рядом-рядом, с чуть-чуть широковатыми скулами,

с большими карими внимательными глазами, черными ресницами. Скажет она несколько слов и чему-то улыбнется, сама не замечая этого.

— Так значит, это вы тогда не уступили моему мужу такси? — сказала она, не изменив интонации.

— Такси? Да, Да. Я тоже был там. Прошло, кажется, четыре года?

— Да, четыре года. Пошел пятый...

Она тогда сидела у подъезда. Кто-то догадался вынести табуретку. И какая-то старушка уговаривала, успокаивала ее. А у нее рот разрывался от крика. И жара, душно. Боль! Пыль кругом. Это начинались ее первые роды. А машины все нет...

— Я не знал, что это были вы, — тихо сказал Перекурин.

— Да, вы тогда этого не знали.

Перекурин отчетливо помнил тот день. Четыре семьи с ребяташками собрались в лес с ночевкой. Сколько у них было с собой рюкзаков, сеток, палаток, теплых одеял! До лесу не дойти. Автобусы тоже не ходят. Один выход — ловить такси. Раз с ночевкой, значит нужно подальше, чтобы и лес был покрасивее, и вода рядом, и порыбачить утром. А таксисты, как назло, отказываются ехать. Обратного ведь возить будет некого. Да и такси-то нужно два, если не три. Бегали больше часа, нервничать уже начали. Поймали одно такси. Уговорили все-таки. Тут, на счастье, и второе подошло. Побросали рюкзаки и палатки в машины, и тут из-за угла дома выбегает Серегин, глаза большие, на лице улыбка, не то от радости, не то от растерянности. Кричит:

— Дайте такси! Жену в роддом отвезти надо.

— Садись! Чего ждем! — кричит с другой стороны Гордецов.

— Да вот тут такси просят...

— Какое еще такси?! Полтора часа бегаем! По-ехали!

— Женщину надо в роддом отвезти.

— Так ведь на это есть «Скорая помощь». «Скорую помощь» надо вызвать. Чего стоишь? Дуй, звони из автомата!

— Да, да, я, вообще, звонил уже... Жена у меня...

А женщины переглянулись и ничего не сказали. Ребятишки уже хнычут, раскисли от жары. Духотища, пыль. Поймать еще одно такси, чтобы уехать в лес, без-надежная затея.

— Да и не повезет таксист. Очень ему нужно. «Ско-рая» на это есть, — объясняет Гордецов, но так, чтобы таксист не слышал.

Раз в год ведь собрались в лес.

Серегин повернулся и молча побежал за дом.

Перекурин стоял, и ему было стыдно. Да и осталь-ным неловко. А тут еще ребятишки стонут.

— Не в лесу живем. Поехали, чего там, — сказал Гордецов. — Ей-богу, на «Скорой» ее быстрее увезут.

— Он тогда вызывал «Скорую помощь». Но она по-чему-то не приехала, — сказала Мира. — И такси ему не досталось. Какой-то мужчина ехал на своей машине. Так вот он и довез меня. Семью высадил, а нас по-садил.

Перекурин закрыл лицо ладонью, потом медленно потер лоб. Минуты две они молчали. Вспоминал ведь Перекурин эту историю и раньше и не чувствовал за со-бой особой вины. Надо было, конечно, уступить такси. Надо было... Пусть она хоть одну минуту мучилась из-за него. Хоть мгновение. Ведь больно же ей было! Ему

и не представить эту боль. А она еще сидит рядом с ним, разговаривает.

— Мира, простите. Все плохо, все... Я уйду.

Но он не ушел, а она сказала:

— Ирочка у меня родилась маленькая, худенькая. Я ей долго не решалась имя дать. Мне нравилось совсем другое. Красивое. А потом думаю: вдруг она вырастет некрасивой. Мучилась, мучилась, все «доченька» да «доченька», а потом назвала просто Ирой. Тоже ведь хорошее имя, правда?

— Правда, Мира, правда, — Перекурин боялся посмотреть в ее сторону.

— А у вас дочь такая большая, высокая, ноги полные.

У Перекурина полегчало на душе. Нет, не сердится она на него. Он даже осмелился взглянуть ей в лицо, в глаза. Ничего. Чуть поджала губы и опять улыбается. Да что же это делается! Безоружный он перед ней, безоружный. Хотя бы одно слово злое, насмешливое, чтобы самому внутренне озлиться, чтобы увидеть, что она не такая уж и добрая. Нет, именно такая она и есть. И гордая и добрая.

И на Перекурина нахлынуло что-то новое. Какой-то приступ счастья. Вот он сидит рядом с ней. И увидел-то он ее случайно, не слышал, не разговаривал с ней, не знал, как ее звать. А ведь любил. И сейчас любит. Еще больше прежнего. Нет, не ошибся он ни в себе, ни в ней. Любит, но не будет говорить об этом.

— А вы с детьми часто гуляете. Я вижу. Хорошие у вас дети?

Вот уж об этом-то Перекурин мог говорить сколько угодно. И снова они проговорили чуть ли не час.

— Вы же на обед опоздали? — испугался Перекурин. — Кончился ведь обед-то у вас!

— Кончился, я знаю, — сказала Мира. — Можно разок и без обеда обойтись. Ведь вы тоже не успели.

— Для меня это сущие пустяки.

— Я хотела вам сказать, только не обижайтесь, что мне не понравились ваши стихи, — она посмотрела на него изучающе, но он ничего не понял. Руганул только себя в душе. Зачем он только полез со своими стихами к ней? Ведь у нее муж поэт. Известный, признанный. И хотя Перекурину никогда не нравились его стихи, как-то внутренне он был с ним не согласен, все равно тягаться с Серегиным было непростительно глупо.

— Да, стихи, конечно, ерунда, — сказал Александр, стараясь казаться беспечным, словно это его мало интересовало. — Так себе. Белый стих.

— Я не про рифмы. В стихах я, наверное, тоже плохо разбираюсь. Особенно своего мужа. Смешно, правда?

Перекурин только пожал плечами.

— Я и ваши не берусь судить. Мне не понравилось то, как вы меня увидели. Что вы во мне увидели...

— И тут я что-то сделал не так?

— Вы писали стихи своей будущей жене, когда еще не были женаты?

— Нет, я никогда не писал стихов. Писем-то даже не писал.

— Почему?

— Да мы почти все время были вместе. Мы почти и не расставались.

— А мне Сергей писал стихи.

— Ну что же, может, вы и счастливее от этого.

— Только он мне писал не такие стихи. Они были нежные, чистые, хорошие.

— Значит, они вам нравились?

— Нравились, — сказала Мира. — Когда-то... нравились.

— А разве я обидел вас? Что-нибудь в них было грубое, нехорошее?

— Нет. Просто вы увидели во мне женщину. Только женщину. Вам ничего и не надо было видеть больше. А он видел во мне, наверное, и что-то другое. Чего, может быть, и нет.

— Господи! — сказал Перекурин. — Это так вы поняли мои стихи?!

— А разве это не так?

— Нет! Нет! Конечно, нет! Я же от вас... у вас ничего не прошу.

— Еще бы! — сказала Мира. И вот теперь-то он увидел ее другой. Не такой, как всегда. Но не злость была написана на ее лице. Нет. Какое-то отчаяние. — Ну почему вы видите в нас только женщин? Мы же люди. Ведь почти каждую неделю, чаще, все время слышишь: «Какие ножки! Какая грудь! Глазки! Бедро!» И каждый стремится сказать пошлость, притиснуть, если поблизости нет никого. Ведь не машины же мы, призванные удовлетворять ваши желания. Вот и вы. Ведь вы разглядели только то, что я вышла на балкон без платья.

Перекурин снова стиснул свое покрасневшее лицо в ладонях и нагнулся вперед, почти к самым коленям.

— Нет, нет, Мира, — только и смог сказать он.

— Вы любите свою жену? — вдруг спросила она.

— Нет, не люблю! — с вызовом сказал Александр. — Не люблю. Иначе бы я не пришел сюда.

— Интересно, почему мужья не любят своих жен? — Это был не вопрос, просто мысли вслух.

— Не знаю. Ничего не знаю. Я хочу только одного — уйти. Простите меня, Мира. Идите, Мира. Я больше никогда не буду причинять вам огорчения и неприятности.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет, я хочу знать, что привлекло вас во мне.

— Привлекло? — рассмеялся Перекурин. — Нет. Я... — Он хотел сказать: «Я люблю вас», но не сказал. Зачем? Кому нужна эта смешная его любовь? А, может быть, она поняла его вполне правильно? Может, она поняла его лучше, чем он сам? Ведь и сегодня он сказал ей, что хочет расцеловать ее всю с ног до головы. Хочет, конечно, хочет! Но ведь не только ее тело любит он. Ведь в глазах у него всегда стояла ее ласковая, такая родная, необходимая ему улыбка. Сколько месяцев он разговаривал с ней в своих мыслях? Что это? Было в ней что-то от него самого. Родство душ?

Она смотрела на него пристально, но спокойно... Она уже поняла, что ничего он ей не объяснит, не расскажет. И от этого в ее душе поднялась досада. Хотелось услышать ей что-то такое, что еще никто не говорил, хотелось узнать его мысли, хотелось представить его чувства.

А он знал, что не сможет ничего сказать ей. Что бы он ни сказал сейчас, все будет звучать пошло, нечестно, глупо, потому что она не верит ему. И именно сейчас, когда все стало плохо, он понял, как любит ее. Как нужны ему ее глаза и слова, и мысли ее, и просто звуки ее голоса. Все испортилось, все развалилось. И нужно было сделать так, чтобы никогда не могло наступить продолжение. И он сказал:

— Да! Я действительно хочу исцеловать вас всю с ног до головы. Я хочу этого! Но только мне ничего не надо. Все ерунда. Все. Забудьте, если сможете.

Он откинулся на скамье. Пусть будет так, как он сказал. Он вдруг почувствовал, что ему стало легко. Удивительно легко. Он сказал все, что хотел. Ведь он же действительно ничего не ждал от этой встречи, от

своей любви, от всей этой нелепой истории. Он выговорился. Выговорился.

— Может быть, есть кто-нибудь, кто говорит такие же слова и вашей жене.

— Может быть. Почему нет? Она же красивая и умная женщина.

— И вы были бы спокойны, если бы узнали об этом?

— Не знаю. Все зависит от того, как бы все это понравилось ей. Кто-то должен любить и ее...

Мира достала из сумочки лист бумаги и протянула его Александру:

— Возьмите. Это ваше стихотворение.

Он молча кивнул, взял листок, мелко-мелко разорвал его, собрал клочки в ладонь, поднял ее, желая развеять по ветру листочки, но передумал и сложил их в карман.

— Нет, не выброшу я их сейчас.

Они оба замолчали. Потом Мира сказала:

— Почему вы молчите? Ведь трудно сидеть вот так, молча.

— Мне не трудно. Мне стало легко, потому что хуже уже не может быть... Мне сейчас легко.

— А мне? Сделайте же так, чтобы и мне стало легко.

— Если бы я знал, как это сделать...

— Ну ничего, это просто настроение. Пройдет.

Больше всего Перекуруину сейчас хотелось остаться одному. Спокойно разобраться в своих чувствах. Уйти куда-нибудь в лес, упасть на траву, чтобы над головой только голубое небо и пляшущие ветви берез. Но он знал, что даже и сейчас, пусть даже в лесу, он все равно увидит лицо этой женщины. Ему хотелось уйти, хотя он знал, что это их последняя встреча, последний разговор, что он уже никогда больше не увидит ее так близко.

Она снова заговорила с ним о всяких пустяках. Но даже об этом он проговорил бы с ней много часов. дней, лет... Потом она сказала:

— Ну а все-таки мне нужно идти на работу. Мне нужно съездить еще на один объект.

— Ну что ж, — спокойно сказал Перекурин. — Идите, Мира. Я еще немного посижу.

— Нет, я не уйду первой. Понимаете, привычка. Уходите вы.

— Пойдемте тогда вместе. А ведь правда, Мира, пройдите со мной рядом шагов пять. Ведь мы, наверное, никогда больше не встретимся.

— Наверное, никогда.

Они встали и пошли из сквера. Она едва доставала ему до плеча, и он подумал, что с ней хорошо было бы ходить, обняв ее за плечи. Она пошла к остановке своего троллейбуса, и он с ней. Минут пятнадцать они простояли там, но троллейбус все не приходил, потом пришел битком набитый. Она спросила у него, сколько времени. Было уже половина четвертого, и Мира сказала, что на объект все равно опоздала.

— А мне нужно быть на работе, — сказал Перекурин. — Только мне на другой троллейбус.

— Я провожу вас, — сказала Мира. — Это мне по пути.

Они пошли на другую остановку, постояли там, и он сказал:

— Но мне ведь нужно совсем на другую остановку, — и тихо улыбнулся.

— Ах, ведь правильно! Что же вы ничего не сказали?

— Я нарочно, чтобы еще тридцать секунд побыть с вами.

— А мне показалось, что вы уже успокоились. Я пойду.

— Теперь мне по пути проводить вас.

Она кивнула. Они дошли до подъезда. Мира поднялась по ступенькам и сказала:

— Ну, до свиданья.

— До свиданья, Мира. Все равно я хочу вас видеть! Все равно!

Она улыбнулась ему устало. И снова ее улыбка сказала ему: «Возьмите себя в руки, Александр. Все у вас будет хорошо».

Он повернулся и ушел не оборачиваясь.

Весь остаток дня на работе он не произнес ни слова и только на вопрос директора «Где пропадал после обеда?» сказал:

— На свидании.

И тут-то наконец он начал понимать, что он делает с ней, чем он обидел ее. Поздно было теперь хвататься за голову, ничего не изменишь.

И тогда он решил написать ей письмо. Лишь бы она прочла его.

6

Перекурин пришел домой. Отказался идти с Машенькой в кино. Жена ушла с соседкой. Ребятишки бегали на улице. В квартире было тихо. Перекурин сел за стол, достал лист бумаги и ручку. Время бежало, а он все сидел над чистым листом. Он не заметил, как пришли дети, как вернулась из кинотеатра Машенька и пыталась рассказать ему содержание какого-то индийского кинофильма, на котором она даже всплакнула. Все пролетало мимо его сознания, он был в каком-то полусне.

Наконец он вывел, стараясь писать разборчиво: «Здравствуйте, Мира!» Жена принесла ему стакан горячего чая, потрепала его по макушке и ушла спать, не поинтересовавшись, что он собирается писать. А Перекурин писал быстро, боясь, что пройдет его смелость, что он не успеет высказаться и что это невысказанное так и останется лежать тяжелым камнем на его душе рядом со стыдом, который жег его. Стыд этот был во всем его существе, в душе, в глазах, в лице, во всей фигуре. Он знал, что, написав это письмо, не избавится от ощущения стыда. А! Все равно. Он и боялся, и хотел, чтобы это продолжалось всегда.

Он не раскаивался, что написал свое глупое стихотворение. Ведь он написал его только для себя и никогда бы и не подумал, и не поверил, что может показать его Мире.

Да! Он увидел в ней сначала только женщину. Он ведь не знал ни ее имени, ни фамилии, не слышал даже ее голоса, смотрел только издали, стараясь ничем себя не выдать и надеясь, что это может продолжаться всегда. Глупая надежда. Ведь именно тихий покой, устроенность, благополучие он и хотел взорвать в себе. Он никогда и не верил в покой. Просто согласился, сдался, стараясь не думать об этом.

Он ничего не знал о Мире и видел в ней только женщину. Но ведь и женщин видят по-разному, одну представляя только в постели, перед другой становясь на колени.

Он только раз в своих мыслях прикоснулся к ней, к ее ладоням, щекам, груди, зная, что она этого никогда не заметит. И видя ее, он всегда испытывал странную радость, больше похожую на грусть. Но все же это была и радость! И все это должно было остаться в нем, никто не должен был знать об этом. А он все

рассказал ей, сбивчиво, нелепо, пытаясь иногда сбиться на игривый, шутливый тон, вроде бы это его не очень и волнует. Глупо. Этой своей глупости он и стыдился.

Что она о нем подумала! А ведь он увидел в ней маленькое чудо.

Перекурин писал, что когда шел к ней, то уже знал, что скажет. И ничто не могло бы его остановить. Он думал только о себе, не отдавая отчета в том, что, может быть, она и не захочет его слушать. Он писал о том, что забыл, что их там было все-таки двое. И что главной в их встрече была она, а не он.

Он вспоминал, как был горд, что все так честно рассказал ей. Ведь тогда ему действительно стало легко. Как будто с души свалился камень.

«Я так и остался бы в глупом неведении, — писал он, — если бы Вы не заговорили о моем письме. Это было необыкновенно хорошо. Только тут я начал понимать, что я делаю с Вами.

Вы не прогнали меня, не надавали пощечин, даже не взглянули на меня с презрением, не высмеяли. Сколько же доброты и мягкости в Вашей душе!

А я еще что-то говорил Вам, чтобы Вы меня простили, что я не хотел Вас обидеть. Что я говорил? Всякую ерунду, о которой и вспомнить-то стыдно. Так стыдно! И вы все еще не прогнали меня и даже прошли со мной тысячу шагов, хотя я просил всего о пяти!

Простите меня за все, что я Вам там наговорил, за то, что хоть на миг испортил Вам настроение, за то, что не разглядел с балкона, что Вы не только Женщина, но прежде всего Человек, прекрасный, как чудо, в которое я всегда верил.

И еще.

Четыре года назад четверо мужчин, у которых уже были дети, и четыре женщины, которые все уже рожали

детей, отказались уступить машину, чтобы отвезти Вас в родильный дом. И я был одним из них. Я даже не пытался уговорить их уступить машину. И все четыре года мне и в голову не приходило, что я совершил подлость.

Мне всегда казалось, что я люблю людей. И вдруг открыть в себе, что ты бесчеловечен. И не сейчас, не только что, а давно. Тут дело не в Вас. Ведь это была Женщина, которая должна была родить Человека.

И это оказались именно Вы.

Вот видите, сколько я доставил Вам неприятностей. Я еще не знал Вас, не предполагал вообще, что Вы существуете, а уже причинил Вам боль.

Потом я увидел Вас и в первую же встречу обидел Вас.

Встретился еще раз, и снова Вам стало плохо.

Я не знаю, простите ли Вы когда-нибудь меня или нет.

Я говорил Вам, что мне хочется видеть Вас, говорить с Вами, слушать Вас, целовать Вас. Все не то.

Я просто люблю Вас.

Я люблю Вас, Мира.

Мира, я счастлив! И мне ничего не надо, кроме одного: будьте счастливее меня!

Я никогда не спрашивал у Вас, любите ли Вы своего мужа, любите ли Вы кого-нибудь, потому что я уверен, что Вы любите своего мужа. И ничто не заставило бы Вас остаться с ним, если бы ушла Ваша любовь.

Я не буду искать с Вами встреч. Считайте, что меня нет, меня не существует.

Мне даже кажется, что не было и этой глупой недели, когда мне посчастливилось видеть Вас близко, говорить с Вами, сгореть от стыда и после этого полюбить Вас.

Мира, я люблю Вас!»

На улице было уже светло, когда Перекурин кончил писать. Он вышел на балкон, закурил. Хоть бы небо расколосось, чтобы она вышла посмотреть на него. И он бы увидел ее.

Но небо не расколосось. Какое ему дело до любви Перекурина? Александр положил листок в карман и вышел на улицу. Первой он сегодня должен увидеть ее.

7

Он ждал ее возле детского сада, у трамвайной остановки, у здания Управления главного архитектора, но не встретил.

Едва он вошел в свой отдел, как увидел Гордецова. Тот даже не сострил при встрече, только сказал:

— Что случилось?

— Весна, — односложно ответил Перекурин.

— Какая, к черту, весна! — заволновался Гордецов. — Август, август на дворе! Представитель тут все ногти себе пообкусал. А директор валидол пьет. Ведь полнейший завал в секторе. Никакие статистические данные здесь не помогут.

— Хорошо. Пойдем беседовать с представителем.

В кабинете директора все пропахло табаком, хотя окна были раскрыты настежь. Пухлые пачки отчетов и протоколов обследования граждан на предмет наличия таланта или одаренности лежали даже на полу. Представителю, наверное, уже надоело их изучать, он сидел, тупо глядя прямо перед собой.

— Вот, явился, — сказал директор. — Тебе сейчас надо не вылезать из своего сектора, а ты порхаешь бог знает где. — Директор хотел сказать «черт знает где», но его остановило присутствие представителя. Все-таки из главка.

— Ну так что, Александр Викторович, — спросил представитель, — собрались с мыслями? Почему сектор лихорадит? В мае недовыполнили план, в июне наверстаи. А в июле завалили так, что за два месяца не нагонишь.

— Спокойный месяц, — ответил Перекурин. — Я уже думал над этим.

— Что значит спокойный? — удивился директор.

— Июль, август. Покой в душах людей. Не будет до осени талантов.

— Да июль, август самые жаркие месяцы, — заволовался директор. — Все в отпуск торопятся. Билеты, чемоданы. Детей пристроить надо. Какой же тут покой.

— В том-то и дело, — сказал Перекурин. — Я где-то читал. Прилетели разумные существа на одну планету, может быть, Землю. Слышали, что на морях и океанах бывают бури. Но что это такое, никто не знал. Летают над водой. Море тихое, ласковое, спокойное. Всю измерительную аппаратуру повключали пришельцы. Нет бури! Летают день, неделю, вторую. Нет бури. Что за напасть! Вдруг налетел ветер, а летательные аппараты хрупкие, вот-вот разобьет их. Скрылись пришельцы на берегу. Переждем, думают. Переждали. Снова тишина да покой. И снова бедные летают над океаном или морем и никак не могут найти бурю. Так и улетели. Решили, что на этой планете бурь не бывает.

— Интересная история, — улыбнулся представитель. — Только в чем тут аналогия?

— Чудишь, Александр, — сказал директор.

— А аналогия вот в чем. Может ли быть талантливей спокойная душа? Покой — это нулевая линия. От нее можно и вверх и вниз. А талант — это отклонение от нулевой линии. Только, я думаю, не обязательно

вверх и строго параллельно покою. Талант — это колебательный процесс. От горя к счастью. Это когда душа человека ищет, не хватает ей чего-то. С одной стороны. А с другой стороны — ее переполняют страсти, буря, непокой. Когда человеку просто необходимо выплеснуть частицу своей души, искренне, страстно, без оглядок. Когда человек не боится, что обеднеет, отдав частицу себя... Мне кажется, это должно быть трудным состоянием. Талант для человека не только счастье и радость. Это и боль, и горе, и мучительные раздумья, и разочарования.

— Занятно, — прервал его представитель. — Вот еще увязать бы это с планом.

— Эксперименты проводишь? — нахмурился директор.

— Тихий месяц июль, — сказал Перекурин. — Людям не до стихов и музыки. Билеты в Геленджик доставать надо. Не тем заняты сейчас души людей. Пришел на днях один гражданин. В кресло садится, а сам смотрит на меня умоляюще и говорит: «У вас нет знакомых в агентстве Аэрофлота?» И я уж знаю, что для музыки этот человек сейчас глух. И для стихов тоже, и для любви. В спортивный сектор его надо. Он сейчас стометровку может пробежать по второму разряду, хотя не бегал уже лет десять.

— Но ведь вы неуважительно относитесь к своим... — начал было представитель.

Перекурин махнул в его сторону рукой, словно говоря: «Да подождите вы».

— Был я однажды в гостях у поэта Серегина. — Перекурин замолчал. Вот смех-то! Ведь он был у нее в квартире еще зимой. Серегин тогда сам попросил кого-нибудь прийти из БОТа. Поговорить, узнать друг друга лучше. Ему хотелось завязать прочные контакты с бю-

ро. А Миры в тот день дома не было. Ну конечно, ведь это было в рабочий день.

— Поэтов у нас маловато, — сказал директор.

— Так вот. Был я однажды у него в гостях... Сколько он ни выпустил книжек, а ведь мы ему до сих пор свидетельство даже о простой одаренности выдать не можем. Не находит наша машина ничего. А он на нас обижается. Халтурщики, говорит, вы. Вот я и подумал, может, у него в душе покой, когда он к нам приходит, потому и получается круглый нуль. Так вот. Сажу я у него. А он говорит: «Вот хотите, я на ваших глазах напишу гневное стихотворение. О Вьетнаме, например». — «Хочу», — отвечаю я. Берет Серегин лист бумаги и шариковую ручку. Начинает писать. Написал две строчки — заело. Походил немного по комнате. Мать его предложила нам кофе с коньяком и конфеты. Выпили мы. «Прекрасно, — говорит он. — Люблю этот напиток. А вы?» Поговорили о кофе и коньяке. Тут Серегин еще пару строчек написал. Снова заело. Это меня не удивило. Не может же человек как из рога изобилия сыпать строками. Наоборот, уж что-то очень быстро у него получалось, по моему мнению. За полчаса написал стихотворение. И поговорить за это время успели о многом. И о собаках, и о любовницах, и о бельгийских костюмах из черного шевюта. Показывает он мне стихотворение. Очень аккуратное стихотворение. Даже с восклицательным знаком. «Через недельку, — говорит, — увидите в областной газете». И действительно ведь появилось. Только зря бумага пропала. Никого оно не тронуло, я уверен. Разве что главного бухгалтера, когда он ведомость подписывал. Не было в этих стихах гнева. Не было! Разве можно писать о горе, а самому рассказывать сальные анекдоты в это время? Тишина у него в душе. Покой. Доволен он всем. И войной этой

он доволен, потому что она его не касается, а писать о ней можно. Напечатают.

— Так, значит, машина правильно выдает свидетельства? — спросил представитель. — В чем же тогда дело?

— Если в душе покой — машина не ошибается. У этого Серегина вечный покой. Но ведь бывает и по-другому. Что-то взрывает покой, и человек начинает сочинять музыку. Человек талантлив не всю свою жизнь. Это моменты, периоды. У одних короткие, и человек проскакивает мимо них, боится их. Ведь это что-то необычное. У других продолжительные. Мы же здесь анализируем спокойные души людей и выдаем им справки, что они обычные, серые, неодаренные, как и большинство. Не то мы делаем. Над спокойным морем мы ищем бурю. Катись к черту весь план! Не в нем дело. В людях дело. Надо разрушить покой в человеческих душах. Ведь не для того же мы живем, чтобы тратить зарплату на мясо и брюки, чтобы износить семьдесят пар ботинок и умереть, испытывая гордость, что ты помогал развивать обувную промышленность.

— Но ведь никто и не признается, что живет ради этого, — успел вставить директор.

— Никто, — подтвердил Перекурин. — Никто, но многие так и живут.

— С таким настроением нельзя работать, — сказал представитель.

— Нельзя. Я знаю. Я уйду с этой работы.

— Нет уж, милый! — вспыхнул директор. — Развалил и сразу: уйду. Ты сначала все наладь как следует в своем секторе, а потом будем говорить.

— Закрывать надо мой сектор. Бесполезен он. Вреден даже. Только в хор электролампового завода и можем набирать людей. Да и там поют только: «Ох миленок...»

— Этот хор известен по всей Сибири, — возвысил голос директор. — А ты его хаешь.

— Я его не хаю. Не тем мы занимаемся. Не открывать таланты надо. Что их открывать. Талант сам откроется. Делать нужно так, чтобы в людях исчезал покой. Тогда и таланты будут. Хотя, наверное, не у всех... Все равно не у всех.

— Времени у вас много свободного, вот вы и мечетесь, — сказал представитель. — Я буду в главке ставить вопрос. У станка бы стояли, меньше глупых мыслей лезло бы в голову.

— Неправда, — тихо сказал Перекурин.

— У тебя у самого-то в душе покой или как? — спросил директор.

— Нет в моей душе покоя.

— Что же ты стихи не пишешь?

— Вполне могу обходиться и без этого, потому и не пишу.

— А что же тогда нам, серым, делать? — съехидничал директор. — У меня вот тоже одни волнения, а что-то петь не хочется.

— Вы прекрасный организатор. В этом ваш талант.

— Ну будет, будет, — заскромничал директор. — Говорить хорошо. Что с планом делать?

— Ничего. Раз сама система неправильная, техника нам не поможет. На юг люди едут. Не до нас им.

Перекурин вышел. А когда дверь за ним захлопнулась, директор сказал:

— Ишь ты. Волновать сердца людей ему надо! Влюбился, что ли, мужик?

— Надо серьезно подумать... — начал представитель.

— Нет, я его в обиду не дам, — не дослушав, предупредил директор.

А Перекурин снова пошел к Управлению главного архитектора. Надо было ему увидеть Миру. Чтобы не думала она, что он просто поволочиться хотел. Чтобы знала она, что любит он ее. Любит! Чтобы успокоилась она, не боялась встретить его на улице, не боялась выходить на балкон.

В управлении уже начался обед, когда он зашел в комнату, где работала Мира. Там никого не было, кроме одной незнакомой женщины. Перекурин ничего не спросил и вышел. Он пересек улицу и стал ходить напротив окон здания. Еще раз зайти он не решался. Ведь какой стыд он испытывал при этом! И уйти отсюда он не мог. Не мог уйти, не увидев ее.

И вдруг за его спиной раздался шаг. Это была она. Он не видел ее, но уже почувствовал это. Обернулся. Ну, конечно же, это была она.

— Мира, — сказал он.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Мира, здравствуйте.

— А я случайно посмотрела в окно, вижу, знакомый человек ходит. Я подумала, что вы пришли ко мне.

— Да, да. Я даже заходил в комнату, где вы работаете. Но вас там не оказалось.

Она стояла перед ним в легоньком в синих цветочках летнем платье. Стояла и улыбалась. И снова добродушно, словно говоря: «Нет, Саша, я не обиделась на тебя».

Знала бы она, что делает своей улыбкой! А он стоял и смотрел на нее, и казалась она ему чудесным незнакомым ритмом, странной и прекрасной мелодией и словами, нежными и красивыми. Вся она была как песня.

Далекая песня. Песня, без которой и жить-то, наверное, не стоит.

Она чуть-чуть кивнула ему, как бы говоря: «Ну что же вы?» Перекурин представил себе, что с ним будет, если он больше не увидит ее, как и писал он в своем письме. Сейчас можно было просто постоять рядом с ней и помолчать. И не говорить глупых слов, потому что неглупые куда-то пропали. Но Перекурин решил быть честным. Ведь он хотел передать письмо. И только.

— Хотите еще одно стихотворение? — спросил он.

— Хочу! — ответила она. Это было сказано таким тоном, что Перекурин писал бы ей каждый день, лишь бы слышать это «Хочу!». Он протянул ей сложенный вчетверо лист бумаги и сказал:

— Вот и все. Я не буду задерживать вас. До свиданья, Мира.

— До свиданья, — сказала она, и теперь в ее голосе ему почудилась растерянность. Может быть, она хотела услышать еще что-нибудь от него. Или у нее просто есть несколько свободных минут времени, которые все равно пропадут зря.

— Ну я пошел, — сказал Перекурин.

Она кивнула ему и улыбнулась. Он повернулся и ушел не оборачиваясь.

В его секторе все шло размеренно. Приходили люди, заполняли анкеты, садились в кресла, вставляли, получали свидетельства. Одни уходили молча, ничуть не расстроенные, другие все-таки протестовали.

— Вот у меня рассказ, — напирал на Гордцова один упитанный молодой человек. — Я на конкурсе первое место занял. Проверьте свою машину!

— Что за конкурс? — поинтересовался Гордцов.

— Во второй пекарне. Хлеб-то наш едите. Что я, зря писал, что ли?

— Бросьте писать, — сказал Перекурин. — Если для конкурса да для нашей машины, то не стоит. Кроме этого рассказа, что-нибудь еще писали?

— Нет.

— А хочется?

—хлопот много, а толку мало. Может, действительно бросить?

— Бросьте. Не пожалеете потом. Зачем писать, если можно без этого?

Недовольный толстячок успокоился.

— Здорово это у тебя получается! — сказал Гордцов. — От некоторых ведь никак не отвязешься. Прут как на буфет.

— Тут дело не в том, чтобы отвязаться. Не надо прельщать людей надеждой на то, что они могут стать талантливыми. Надо сделать так, чтобы они становились ими. Халтурой занимаемся.

До вечера Перекурин успокоил еще многих, а некоторых отговаривал прямо в небольшом зале ожидания.

План за день едва выполнили на двадцать процентов.

После работы Перекурин пошел на сквер возле здания, где работала Мира. Сел на скамейку. Он не знал, когда она кончает работу, да и не хотел попадаться ей на глаза. Он видел, как она вышла из подъезда, как шла по улице в пятидесяти метрах от него. С этого дня он каждый вечер садился на привычную скамейку. И ждал ее. Ждал, хотя дал ведь себе слово не искать встреч. Он их и не искал. Да и к чему они были? Ведь, кажется, выяснено все. Каждый день он говорил себе, что больше не пойдет, что это смешно, нелепо, глупо, что нужно же иметь гордость, наконец. Но только все было напрасно.

Так прошло три недели. Три мучительные недели.

Но как радовалось его сердце, как он бывал счастлив, когда видел ее хотя бы издали. А ведь он видел ее еще и со своего балкона. Она тоже выходила на балкон, обычно сразу же после захода солнца. Ее профиль четко выделялся на фоне медленно темнеющего неба. Она почти всегда была одна. Раз два, правда, выходил ее муж Сергей. И тогда Перекурин с удивлением обнаруживал, что он радуется. Пусть хоть у них в семье все будет хорошо.

В конце августа он случайно встретил ее в Университетской роще. Оба вначале растерялись. Перекурин смутился, покраснел, сказал:

— Это случайно. Я не искал вас.

— Я знаю. А вот мне хотелось вас увидеть. Ваше последнее «стихотворение» было так непохоже на первое. Неужели что-то изменилось в вас за такой короткий срок?

— Ничего не изменилось, Мира. Разрешите, я буду называть вас на «ты». Смешно ведь. Я люблю вас. Я хочу сказать хоть раз: я люблю тебя.

— Хорошо. Если хочешь, скажи.

— Я люблю тебя.

— Я знаю. Дальше не надо.

— Это, наверное, наказание мне за тот день, когда я не уступил такси вашему мужу.

— Наказание?

— Наказание и прощение. Все сразу. И даже награда. Почему ты не гонишь меня? Ведь каждый раз я причиняю тебе только горе.

— Нет. Хочешь, я тебе расскажу, как я училась в школе.

— Хочу.

Они встречались еще три раза. В роще и в Лагерном саду.

— Хочешь, — говорила она, — я расскажу тебе...

— Хочу! Конечно, хочу!

Они и домой возвращались вдвоем, только он не провожал ее до подъезда. Она так хотела.

9

Как-то Перекурин возвращался с работы поздно вечером, почти ночью. Нагнал компанию подвыпивших ребят с девушками. У одного из них была гитара. Перекурин умел играть на гитаре, хотя брался за нее в последние годы редко.

И такое вдруг на него накатило! Хоть плачь, хоть кричи, хоть пой! Он просто представил себе, что с ним будет, когда она уедет. Это она вчера ему сказала, что Сергей собирается переезжать в Марград. В Усть-Манске у него были натянутые отношения с писательской организацией. И он решил переехать в Марград.

Перекурин представил себе это. А если навсегда? Ведь не жизнь будет это! А раньше смеялся, что из-за любви стреляются.

Перекурин молча втесался в толпу ребят и снял с плеча у одного из них гитару.

— Таскать надоело, — только и сказал тот. — Каждый день, как лошадь.

— Спой нам цыганский романс! — крикнули девушки и рассмеялись.

Нет, цыганских романсов он не пел. Он и вообще не знал, зачем ему понадобилась гитара. Вот только не может он без нее, и все.

И Перекурин запел. Слова и мелодия возникали сразу, словно кто-то нашептывал их ему на ухо. А пел он о ее улыбке. И снова увидел перед собой ее улыбаю-

щееся лицо. И дальше уже не помнил ничего, пока его не начали трясти за плечи.

— Что с тобой, старик? — спросил один парень.

— Завидую его жене, — сказала одна из девушек.

— Ненормальный какой-то, — сказал кто-то. — Разве можно так петь.

С этого вечера все и началось.

С ним что-то происходило. Это начиналось внезапно, без всякой видимой причины и было как клапан, через который вырывалось наружу нервное напряжение его мыслей и чувств.

Он называл эти взрывы приступами счастья. И бросал все. Работу, если это происходило в бюро; семью, если был дома; друзей, если был в их компании. Он брал гитару и шел на улицу. И не имело никакого значения, был ли это день или ночь, шел ли дождь, жгло ли солнце. Он ничего и никого не замечал, и в голову приходили слова, а руки сами начинали перебирать струны, и Александр пел.

Пел странные и незнакомые песни.

Пел, будоража и взвинчивая сердца и души незнакомых людей чем-то необычным, прекрасным и далеким-далеким, как несбыточное.

Сказка! Сказка была в его песнях!

Друзья заметили, что с Перекуриным что-то случилось. И Машенька заметила, и даже директор бюро. Но говорить с ним на эту тему было просто бесполезно. Это понимали, чувствовали все, хотя и пытались все-таки что-то сделать. Хуже всего было Машеньке. Он не стал более молчаливым, замкнутым. Не стал менее внимательным к ней и детям. Внимания им он уделял теперь даже больше, чем прежде. Он дарил своей жене цветы, целовал ее, словно торопился, что не успеет сделать ей приятное. Но она-то чувствовала, что, целуя ее,

он видит кого-то другого. Другую женщину. И здесь не мелкое увлечение, за которое можно дать пощечину. Машенька плакала тайком и терялась в догадках. И спросить было не у кого. Да и стыдно, тем более что она была уверена в этом, никто из его друзей все равно ничего не знал.

Директор бюро шел как-то вечером по бульвару и встретил Перекурина. Тот стоял, прислонившись спиной к тополи, с полужакрытыми глазами и пел. «Пьяный, что ли?» — подумал директор и подошел поближе. Перекурин его не заметил. Вокруг него стояло человек пятьдесят, а подходили все новые и новые. Директор не сразу понял, о чем поет Александр, но что-то резануло его по сердцу, закружилась голова, перед глазами всплыло лицо школьницы, которую он любил тридцать пять лет назад. Директор был волевым человеком и отогнал видение. Но ему вдруг стало грустно-грустно. Ведь надо же! Лет пятнадцать уже не вспоминал он ее. А тут вдруг на тебе! Директор покачал головой и поспешил уйти. А в спину неслось: «Не убивайте любви!» И ритм какой-то нервный, непохожий ни на что слышанное раньше.

Директор жил с младшим сыном. Старший уже обзавелся собственной семьей. А жена у директора умерла пять лет назад. Допоздна просидел директор над альбомами с фотографиями, тихо улыбаясь и покачивая головой. Ну и Перекурин... Волновать души людей ему надо. А для чего?

А может, действительно надо?

Директор всю ночь промучился. Не заснуть.

А на другой день вызвал к себе Перекурина и сказал: — Вот что, дружок! Ты ведь в Анапу не едешь или там в Гагры? И душа у тебя беспокойная. Слышал я тебя вчера. Ну что ж, умеешь ты волновать людей.

Что с тобой случилось, спрашивать не буду, все равно не скажешь. Но только если ты так же споешь на сцене, «Золотую осень» мы выиграем. Согласен?

— Я на все согласен. Только толку от моего согласия будет мало. Нет у меня ни к пению, ни к танцам, ни вообще к искусству никаких способностей. Сами ведь знаете.

— Не было, да вдруг стало. И так бывает. Мне справки не нужны. Мне человек нужен. Давно уж про тебя говорят. Ждут на улицах. Только вроде ты не по расписанию выходишь. И гитару иногда забываешь. Давай-ка выручай. Подтверди наглядно свою теорию. А насчет машины... Как-нибудь на досуге подключись еще раз.

В начале сентября в машине сгорело полторы сотни интегральных схем. И все из-за предохранителей. Директор рвал и метал. Инженеры и техники сконфуженно переминались с ноги на ногу. А Перекурин объявил аврал. В субботу и в воскресенье все чинили машину, проверяли ее режимы, настраивали. Работали и в ночь на воскресенье. А в обед Перекурин решил сбежать домой, пообедать, да и вообще посмотреть, как там.

Он открыл дверь квартиры и обомлел. В кресле сидела его жена Машенька, а около нее хлопотала Мира. На столе стояла маленькая бутылочка с нашатырным спиртом, лежало мокрое полотенце, рецепты.

Перекурин сказал: «Здравствуйте» — и прошел в комнату. Вот чего он никогда не предполагал, так это увидеть их вместе.

— Помидоры уж очень хорошие были, — сказала Машенька. — Вот я и набрала полную сумку. Подняла и...

— Вашей жене нельзя поднимать тяжести. Она же

ребенка ждет. А вы... — Мира впервые посмотрела на него с нескрываемым осуждением.

— Ребенка? — повторил Перекурин еле слышно.

— А, — махнула рукой Машенька. — Он и не знает ведь еще даже. Пятый месяц уже...

— Ребенка... — повторил Перекурин. — Почему же ты раньше ничего не сказала?

— А ты, конечно, не заметил?

— Нет... нет...

— Вот всегда так. Как будто он в другом мире живет. Принцесс все еще видит во сне и даже летает.

— Принцесс? — Перекурин наконец понял, что это за положение, в которое он попал. Жена ждет третьего ребенка, а рядом стоит женщина, которую он любит, которую видит во сне и наяву, без которой и жить-то не хочется.

— Мира мне помогла. Вы хоть познакомьтесь... Без нее не знаю, что и делала бы. Сумка тяжелая.

— Зачем же? Может, «Скорую» вызвать?

— Была уже, — односложно сказала Мира. — Ну я пойду. Счастливо вам. Берегите жену.

— Живем в одном доме и даже не знакомы. Мира, вы заходите к нам. Не всегда ведь я так раскисаю.

— Зайду, если будет время. Мы ведь уезжаем... — Она уже вышла в коридор.

— Саша, проводи! Что стоишь?

Перекурин вышел на лестничную площадку. Молча. Она стояла перед ним, стараясь понять, что происходит сейчас в его душе. Он посмотрел ей в глаза. Она не отвела свой и только сказала:

— Вот как бывает...

И пошла вниз, держась за перила и не оглядываясь.

Он вошел в квартиру, наклонился к Машеньке, взял ее руки, спрятал в них свое лицо и прошептал:

— Что же ты наделала, Машенька...

С Машей не случилось ничего страшного. Она лишь один день пролежала в постели.

Перекурин несколько дней был удивительно спокоен. Казалось, что он снова становится прежним добропорядочным отцом семейства. Да и дела на работе пошли лучше.

Вот только он не мог спать.

10

В середине сентября он позвонил Мире.

— Я хочу еще раз видеть вас. — Он снова говорил ей «вы». — Ведь даже осужденный имеет право на последнее слово. Можно мне увидеть вас?

— Приходи, Саша, — ответила она.

Он встретил ее в Университетской роще. Было тепло. Последние теплые дни осени.

— Я хочу рассказать вам одну смешную историю, — сказал он и рассказал ей о своей любви. Подробно, день за днем. Все, что он чувствовал, что с ним происходило, все.

Они стояли под сосной. Он не удержался и положил свои руки ей на плечи. Она не протестовала.

— Слушай еще. Я люблю тебя, Мира. С самого начала я знал, что ничем не сумею увлечь тебя, что моя любовь так и останется во мне, что никогда ты не скажешь мне: «Люблю». Я знал. Только не мог удержаться, не мог не рассказать тебе все. Может, я и напрасно это сделал. Я хочу только одного. Чтобы моя любовь когда-нибудь пригодилась тебе. Если кто-нибудь захочет втоптать в грязь твою гордость, твою любовь, если тебе будет невыносимо больно от обиды, знай, что

я люблю тебя. Знай, что тебя надо любить. Знай, что ты более других достойна любви. Тебя нельзя не любить.

— Милый, смешной Сашка. Тебе плохо сейчас. Я знаю.

— Да, мне плохо. Но я ничего не хочу возвращать назад, ни в чем не раскаиваюсь. Мне сейчас плохо. А через пять минут, когда ты уйдешь, мне будет еще хуже. Пускай. Зато ты разбудила меня. Я так и проспал бы всю жизнь. Хорошо, что я встретил тебя.

— И мне хорошо.

— Хорошо, что ты не любишь меня. Для тебя. Со мной бы тебе было трудно. И у тебя бы не было покоя в душе, и ты бы металась, как я, не находя успокоения. И все время тебе что-то было бы нужно. И ты бы пела и плакала. Хочешь, чтобы был взорван мир в твоей душе?

— Нет, — она освободилась от его рук и сделала маленький шаг назад.

— Хочешь не знать покоя?

— Нет, нет, — она оттолкнула его.

— Хочешь любить?

— Нет! Не надо! Перестань! Остановись! Я уеду через неделю. У тебя пройдет.

— Нет.

— Ничего не говори! Я тоже хочу любить! Не говори больше. Ведь я же останусь с тобой! Что мы тогда будем делать? Что будут делать твои дети? Машенька? У меня есть еще капелька покоя. Не отнимай ее. Может, я переживу. Прогони меня, скажи что-нибудь, чтобы я ушла. Нельзя нам вдвоем... нельзя. — Она провела по его лицу рукой. — Я поцелую тебя, только забудь все. Я все еще жду, что будет покой.

Он прижал ее к себе. Не отпускать бы никогда! Чувствовать, как бьется ее сердце! Видеть ее глаза, ее улыбку, гладить ее волосы. Мир мой! Губы ее, горячие и упругие! Глаза, большие и совсем рядом. Совсем рядом. Ближе уже нельзя. Худенькие плечи... И больше никогда этого не будет.

— Я ухажу, Саша. Мне не хочется уходить. А иначе нельзя. Прощай, Саша.

— Прощай, Мира.

Она побежала быстро, не оглядываясь. Только бы не остановиться, не вернуться. Вернуться нельзя. Ведь разорвется он между нею и детьми.

А она? Что будет с нею? Ведь увидела первый раз — смешной парень, и все. Какой-то не такой. Застенчивый, неуклюжий. И ведь была зла на него, что написал он свое нелепое стихотворение. Думала, смеется. А он не шутил. И еще сегодня шла, думала, что все кончится тихо. Хотя в душе уже не было тишины. Уже хотелось видеть его, остаться с ним. Любила этого смешного мужика, у которого трое детей. Скоро будет трое.

Она шла по проспекту и беззвучно всхлипывала. И жалко ей было себя, и думала в то же время, что все пройдет, все образуется. А что образуется? Вспомнила, как первый раз уехала в командировку. Ирочку у мамы оставила. Приехала, соседи говорят, что у мужа тут женщина жила. Не поверила, поссорилась с соседями. А Сергей встретил ласково. Отутюженный весь, выбритый, веселый. А потом стал спрашивать, не было ли у нее в командировке мужчин. Не шутил, допрашивал. Потом оказалось, что соседи говорили правду. Соседи все знают. От стыда чуть не сгорела, но ему ничего не сказала. Только больно было и обидно. Ведь такие стихи писал ей! И сам-то он, ведь вот только когда разглядела, был каким-то гладким, обтекаемым.

Когда надо — веселый, когда надо — ласковый. Не такой, какой есть, а какой требуется.

И у знакомых, и на работе расспрашивал, как ведет себя его жена. Нет ли у нее любовника, не ходит ли она с кем. Не стеснялся заводить разговоры с совершенно незнакомыми людьми, лишь бы узнать что-то о ней. А ведь ей говорили, передавали. И по-прежнему время от времени появлялись у него женщины. Только она не хотела разбираться, не просила его ни о чем и не угрожала. Передурит он, и все образуется. Снова все тихо, мир кругом, до следующего раза.

И тут появился этот Перекурин. Знала она его давно. Видела часто. Человек как человек. Немного смешной. А в общем очень добропорядочный. Когда подошел первый раз — не прогнала, интересно было. Что случилось с человеком? Потом встретила еще раз. Говорит сбивчиво, но искренне же! Поверила, что любит ее. Ох, как нужна была ей чья-нибудь искренняя, хорошая любовь! Гордость ее, любовь ее давно уже втоптали в грязь. А нужно было делать вид, что все хорошо, чтобы соседи не совали свой нос, не сочувствовали, не расспрашивали.

И увереннее она стала. И в своих мыслях, и в словах. Все-таки нужна была ей эта любовь. Но думала, пройдет все. И вот сегодня сама бросилась к нему. И поняла, что не жить без него. Но только никогда он не будет ее Александром. Машенька, милая, простодушная женщина, и трое детей стояли между ними.

Впервые поняла, как больно любить. Не сдержалась. И хорошо, что не сдержалась. Может, так и надо. Выдержать бы еще неделю. А потом все угаснет, успокоится.

Прошла неделя. Перекурин видел, как они уезжали.

Был конец сентября, но погода все еще стояла солнечная, хотя и прохладная. Их провожали родные и знакомые. Мужчины по этому поводу были, конечно, навеселе. Они не поздоровались. Ведь «прощай» было уже сказано. Они все сели в автобус и уехали.

А он стоял и видел ее так же явственно, как и раньше, все так же разговаривал с ней, обнимал ее за худенькие плечи, понимая, что никогда больше не увидит ее.

И снова на него накатило это странное состояние, когда надо кричать от горя, но кричать стыдно. Ему хотелось петь. Вложить в слова, в ритм, в мелодию всю свою боль, всю нелепость обстоятельств, всю любовь к ней.

Зашел к нему директор, чуть не на коленях просил спеть на фестивале «Золотая осень». Провалится же ведь все! Перекурин согласился, взял гитару.

Фестиваль проходил во Дворце спорта. Перекурин пел. Его не вызывали на «бис», потому что он не уходил, пока не почувствовал, что музыка оборвалась в его душе. Ему долго аплодировали. Взволновал он песнями весь зал. Директор сиял. Директор тоже был взволнован. Молодец Перекурин! Случится же с человеком такое... Тридцать с лишним лет был обыкновенный человек и вдруг запел. Да как запел!

А Перекурин сразу же ушел и не слышал, что там о нем говорили. Зачем ему это? Ведь он пел только для нее. Он вспоминал ее, каждую черточку ее лица, каждое движение, каждое слово, каждый звук. Вспоминал и пел. Он не знал, что в то самое время, когда он пел, в поезде Усть-Манск — Марград, в коридоре у окна стояла маленькая женщина и пыталась убедить себя, удержать, чтобы не выйти на очередной остановке и не сесть в обратный поезд. В купе муж заводил новые

знакомства, а маленькая девочка укладывала спать куклу.

Она простояла у окна больше часа и осталась, вошла в купе.

А на Перекурина насели. Честь Усть-Манска превыше всего! Петь надо, петь! Он доказывал, что не может петь просто так, ни с того ни с сего. Не может петь по расписанию. Ну бывает иногда с ним такое. Так ведь может произойти совсем не в то время, когда нужно областной самодеятельности.

К машине его подключали раз двадцать. И все время машина выдавала результат: таланта к пению и вообще к музыке нет. Нет — и все! Директор махнул рукой на машину. Черт с ней! Ученые поломают головы и усовершенствуют. Но ведь не ждать же!

Перекурин подчинился. Тем более что теперь он не мог жить без песен. Потребность у него была такая. Хоть кричи, хоть пой. Лучше петь.

И Перекурин поехал в турне вместе с усть-манской самодеятельностью. Он пел, но ему не становилось легче. Нет, время тут было ни при чем. Не мог он забыть ее. Мир мой — называл он ее.

11

Года через два он получил от нее письмо. Она писала: «Здравствуй, Александр! Я разошлась с Сергеем. Это ты помог мне. Меня любит один человек и хочет, чтобы я вышла за него замуж. Мне с ним хорошо и спокойно. Он не поет песен и не пишет стихов. Он говорит, что никогда в жизни не летал во сне. У него на все есть правильные ответы, и он все знает. Он никогда не совершает не подходящих его положению поступков.

Но иногда на меня накатывается волна беспокойства, все мечется в душе, все задает вопросы, на которые нет ответов. Это бывает, когда ты поешь. Однажды я была на твоём концерте и поняла, что это твои песни. Что они делают с людьми? С людьми, которые тебя даже не знают. А я знаю. Вот и представь, что они делают со мной. Это происходит всегда, где бы ты ни пел, в любое время. И расстояние здесь не имеет никакого значения. Я чувствую, я знаю, когда ты поешь. И тогда мне не нужно никого, кроме тебя. Это невыносимое смешение боли и счастья. Ты такой и есть. И я бы с тобой все время была такая. Только этого не вынести. Это как бег через силу, вечная буря, вечная неуспокоенность.

Когда я спокойна, я с радостью думаю, что нашла тогда в себе силы и не осталась с тобой. Но когда на меня находит Это, несчастье мое оттого, что я не осталась с тобой, становится невыносимым. Я боюсь твоей любви. Она взрывает покой в душе.

P.S. Я слышала, у тебя родилась дочь. Как ты ее назвал?»

Перекурин только раз прочитал это письмо и сжег. Потом пошел на телеграф и дал телеграмму: «Мою дочь зовут Мира. Я больше никогда не буду петь. Александр».

Он вышел из душного помещения телеграфа, сорвал галстук, расстегнул воротничок рубашки. Все пройдет, все пройдет, успокаивал он себя. А в голове стучало: «Мира! Ми-ра! Мир мой! Мир мой!»

И новый, радостный и до слез горький ритм возник у него в голове. И слова. Их не надо было выдумывать, над ними не надо было мучиться. Они возникали сами. И не было сил, чтобы сдержаться и не запеть. И все кружилось вокруг, и пело, и свистело, и скручивало ду-

шу в стремительный вихрь. Он прислонился спиной к стене дома. Он не запел. Он дал слово. Он снова видел перед собой ее лицо.

Пусть в ее сердце будет покой.

А за тысячу километров, в саду возле небольшого домика, уткнувшись головой в ствол клена, плакала маленькая женщина с рыжими волосами, уложенными на голове в какую-то странную, фантастическую прическу.

Покоя больше не будет.

Сашка!

Мир мой!



Девочка

1

Это произошло однажды вечером в конце мая.

В квартиру кто-то настойчиво позвонил. Я открыл дверь и увидел на пороге девочку лет семи-восьми. Она была в белом коротеньком платьице, маленьких туфельках-босоножках и с большим белым бантом на голове. В руке она держала ученический портфель.

— Здравствуйте, маленькая волшебница, — сказал я. — Вы ко мне?

Она весело рассмеялась, бросила портфель и кинулась ко мне на шею:

— Здравствуй, папка! Какой ты смешной сегодня!
Я оторопел на мгновение, но тут же пришел в себя и опустил девочку на пол.

— Как ты сказала? Папка?

— Папка! Папуля! Папочка!

— Вот как... Это даже интересно. Что же мы стоим в таком случае на пороге? Проходи.

Она схватила портфель, вприпрыжку вбежала в комнату, бросила портфель на диван, мимоходом потрепала по спине лениво дремавшую кошку, потрогала колючие иголки кактуса, росшего в горшке на подоконнике, открыла книжный шкаф, переставила стулья и произвела еще немало перестановок, напевая вполголоса какую-то детскую песенку. А я продолжал стоять, наверняка с открытым ртом и предельной степенью недоумения на лице. Как только нервный шок начал немного проходить, я понял, что, несмотря на загадочность, появление этой девочки в моей квартире мне очень приятно. Я даже пожалел, что эта девочка не живет в нашем подъезде. Я бы приглашал ее иногда к себе в гости, а она вот так носилась бы по комнате, совершая беспорядки, непосредственная и веселая, маленькая и легкая, стремительная, как солнечный зайчик. Вот только: «Здравствуй, папка!» Что это? На детскую шутку мало похоже. Может быть, пошутил кто-нибудь из взрослых? Но это было бы слишком жестоко по отношению к самой девочке. А вдруг она перепутала дом? Сейчас ведь все дома одинаковые. Но в таком случае я должен был походить на ее отца. Тоже маловероятно. Тем не менее что-то нужно было делать, и я отложил решение непосильных для меня загадок. Только сама девочка могла мне помочь.

— Ну, раз уж ты пришла, то что бы нам купить к чаю?

— Ах, папка! — укоризненно ответила она. — Ну конечно, эклер «Снежный». Как будто ты не знаешь!

— Да, да, — поспешил ответить я. — Как я мог забыть?

— Папка, ты иди в магазин, а я полью цветы. Они у нас совсем засохли. Наверное, я забыла их полить вчера.

— Отлично, — сказал я, надевая пиджак. — Я мигом вернусь. Чайник я сейчас включу, а ты его не трогай. Договорились?

— Договорились, папа, — и она, снова что-то замурлыкав, достала из кухонного шкафа графин и стала наполнять его водой.

Я захлопнул дверь квартиры, спустился вниз и зашел в ближайший кондитерский магазин. Минут через пять я вернулся, неся коробки с пирожными и конфетами.

Девочка сидела посреди комнаты, пытаясь растормошить кошку, которая упорно свертывалась клубком, отказываясь играть. Пустой графин стоял рядом. Цветы были политы.

— Ну вот я и вернулся. И чай, наверное, уже готов. Посмотри-ка, что я тебе принес!

Я разложил коробки на столе, и девочка сама открыла их. Через несколько минут на столе уже стояли варенье, сахар и чашки с дымящимся чаем. Мне было приятно чувствовать себя гостеприимным хозяином.

— Ну что ж, начнем, — сказал я. — Прошу садиться, волшебница.

Уговаривать ее, конечно, не пришлось. Некоторое время мы молча прихлебывали чай и шарили в коробках, выбирая что-нибудь по вкусу. Я окончательно убедился, что вижу эту девочку впервые. Ни у кого из моих друзей и знакомых не было такой.

Она вела себя так, словно действительно была дома.

Ни тени смущения или робости. Предметы в комнате, казалось, тоже были ей известны и знакомы. Нашла же она сразу графин. Около стены стоял стул. Это она его поставила. Значит, полит и маленький кактус на книжном шкафу. А его не сразу-то и заметишь.

— Знаешь, папа, — сказала она, смешно сморщив носик, — я сегодня получила четверку по русскому языку. За диктант.

По некоторым ноткам в ее голосе я понял, что она немного расстроена этим событием.

— Как же так?

— Так, — внимательно посмотрела мне в глаза. — И четверочка-то такая, ближе к тройке. — Немного помолчав: — Нет, папочка, не выйдет из меня отличницы. Я же ведь стараюсь.

— Ну ничего, — сказал я и даже осмелился потрепать ее по волосам. — На следующий год ты уж как следует поднажмешь. Правда ведь?

— Правда, папка! — И она снова вся засияла, словно крохотное солнышко радости и света. Маленький солнечный зайчик!

— Скажи, папа, почему, как только мама куда-нибудь уедет, ты всегда что-нибудь в квартире сделаешь по-своему?

Вот как! Значит, еще и мама! А впрочем, почему бы и нет. Мама обязана быть.

— Ну и что ж я сделал по-своему?

Она кивнула головой в сторону окна:

— А шторы?

— Что шторы?

— У нас таких не было.

— Ну, это я купил вчера... то есть сегодня. А знаешь что? Давай с тобой играть? Будем пить чай и играть.

— За столом?

— За столом. А мы будем не спеша пить чай и не спеша играть.

— Ну давай...

С этой девочкой было очень интересно говорить. Меня только смущало то обстоятельство, что она называла меня папой. И еще. Я даже не знал ее имени. Спрашивать прямо мне было почему-то неудобно. Может быть, потому, что это расстроило бы игру. Все-таки наверняка игру. Какой же я папа, если не знаю, как зовут дочь.

— Мы будем играть с тобой в такую игру. Представим, что мы друг друга не знаем. Хорошо?

Она весело рассмеялась и пододвинула поближе к себе коробку конфет.

— Ну тогда начали. Мы не знаем друг друга... Девочка, как тебя зовут?

— Оля.

— Чудесное имя.

— А как зовут вас?

— А меня зовут, — я набрал полную грудь воздуха и низким, насколько было возможно, голосом пробасил: — Онуфрий Балалаевич.

Она даже подпрыгнула от восторга на стуле и засмеялась так, словно по комнате рассыпались серебряные колокольчики.

— Ой, папка! Смешной! А почему тебя все зовут Григорий Иванович? А иногда, — тут она прижала палец к губам, словно доверяла большую тайну, — а иногда — Григ.

Теперь подпрыгнул на стуле я. Но только не от восторга, а от неожиданности. Подпрыгнул да еще подавился горячим чаем. Солнечный зайчик с огромным белым бантом на макушке тихо повизгивал от расправшего его смеха.

Я фыркнул, прокашлялся, взял себя в руки и сказал:
— Мы же договорились играть. Значит, пока меня нельзя называть папой. А откуда ты знаешь, что меня зовут Григорием Ивановичем, или Григом?

— А откуда ты знаешь, что меня зовут Оля?

— Я этого не знаю.

— Так ведь это в игре. А вообще, откуда ты знаешь, что меня зовут Оля?

Я чуть было не брякнул, что я ее вообще не знаю, не только что ее имени, но вовремя спохватился.

— Ну, видишь ли, папы обычно знают, как зовут их детей. Они сами выбирают им имена. Вот и я... А откуда ты знаешь мое имя?

— Я же слышу, — и она постучала пальцем по своему уху.

— Понятно, — сказал я, чувствуя, что все больше и больше запутываюсь. — А в каком классе ты учишься? И в какой школе?

— В первом классе «Б». В школе... в первой школе.

— Это здесь, недалеко, за углом? На Зеленой улице?

— На Зеленой... Можно, я еще съем пирожное, папа?

— Конечно, Оленька. — Я, наверное, придумал хорошую игру. Но я был настолько растерян, что потерял способность задавать вопросы, кроме таких: «Как зовут твоего папу?» и «Откуда ты взялась здесь?»

Мы еще минут пятнадцать продолжали играть в придуманную мною игру. Причем девочка показывала поразительную осведомленность обо всем, что касалось меня. Я же удивлялся все больше и больше и наконец понял, что игра ей надоела. Уж очень скучные и нелепые вопросы я задавал.

— Я вымою чашки, папочка, — сказала она.

И, не дожидаясь ответа, потащила посуду на кухню.

Я уселся в кресло и закурил. Через открытую дверь мне была отчетливо видна фигурка девочки, ее загорелое лицо, на котором все время менялись выражения. Она то смешно поджимала губы, когда капли горячей воды брызгали ей на лицо и на руки, то удивленно смотрела на дно чашки, подставленной под струю, где в бешеном водовороте кружились черные чайники. Ее вздернутый носик выражал любопытство, черные стремительные глаза — нетерпение, плавные движения рук — вполне осознанное чувство грации и пластичность. Все в ней было противоречие. Я подумал, что, наверное, невозможно заранее предугадать, что она сделает в следующее мгновение. А белый огромный бант на макушке окончательно утвердил меня в мысли, что эта девочка — солнечный зайчик.

— Папа, — вдруг сказала она, — почему ты так смотришь на меня?

— Извини, Оленька. Я задумался.

— А почему ты куришь?

Я недоуменно пожал плечами.

— Ты ведь раньше не курил.

— Ах да. Это я так. Просто... Случайно. — Наконец-то она сказала такое, что ко мне не относилось. Я курил давно и ни разу не бросал. Значит, она знает обо мне не все.

Девочка вприпрыжку выбежала из кухни, подскочила к радиоприемнику, включила его и, открыв дверцу тумбочки, начала рыться в пластинках.

— Папка, ты будешь танцевать со мной лагетту?

— Конечно, буду, Оленька. Только тебе придется меня научить. Я никогда не танцевал лагетту.

— Ох и хитрый, папка! Ведь мы с тобой почти каждый день танцуем лагетту. Притворяешься?

— Давай договоримся, что я забыл этот танец. А ты меня будешь учить.

— О-ё-ёй! — погрозила мне пальцем девочка и снова начала переставлять пластинки. — Пластинки куда-то убежали, папочка. Может быть, у них есть ножки?

— Это, наверное, проделки Матильды, Оленька. — Матильда лениво шевельнула хвостом, услышав свое имя. — А шейк или чарльстон тебя не устраивает?

— Устраивает, — ответила девочка.

И мы стали отплясывать чарльстон.

— Тебя, папочка, не перетанцуешь, — сказала девочка, смеясь.

— Да я уже и сам с ног валюсь.

Танцы кончились. Девочка села за рояль. Старый беккеровский рояль, на котором играло много поколений моих предков. Играла она неважно, но очень старательно, отсчитывая доли такта вслух. Потом вдруг захлопнула крышку рояля и сказала:

— Все равно мне Ксения Николаевна больше тройки не поставит.

— Если ты очень захочешь, то поставит.

— Я поиграю вечером. А вообще-то этот контрданс мне не очень нравится. Вот так, папочка!

— Ну, Ксения Николаевна, наверное, знает, что тебе нужно играть.

— Я пойду к Марине, папа. Сначала мы с ней поиграем, а потом сделаем уроки. Хорошо?

— Хорошо, Оля. Иди, конечно.

Девочка взяла портфель, помахала мне рукой и выскочила за дверь. Я бросился вдогонку за ней и крикнул:

— Оля! Ты еще зайдешь ко мне?

— Что, папа? — ответила она звонким голосом откуда-то уже снизу. — Что ты сказал?

— Я говорю, чтобы ты долго не задерживалась.

— Хорошо-о-о!

Хлопнула входная дверь. Я вернулся и попытался читать книгу, но это заняло меня ненадолго. Я почему-то ждал, что девочка придет снова.

Но она не пришла в этот вечер.

2

Утром я, как обычно, наскоро позавтракав, уехал на испытательный полигон. Он был расположен километрах в пятнадцати от Усть-Манска, недалеко от реки, на небольшом, слегка волнистом плоскогорье. Полигон занимал площадь в пять-шесть квадратных километров. Приземистые, но просторные корпуса лабораторий были на первый взгляд разбросаны в совершенном беспорядке по территории полигона. У въезда возле проходной теснились огромные ангары для транспортных автомашин и высилось здание подстанции. В центре блестела отполированная тысячами подошв и шин асфальтированная площадка для запуска капсул. И только стоя на этой площадке, можно было понять, что домики и вагончики лабораторий как магнитом притягивались к этому месту. Не будь на то строгого приказа директора, они бы окружили этот асфальтированный пятачок плотным многоэтажным кольцом. Впрочем, пятачок был не так уж и мал. Его диаметр составлял около двухсот метров.

Из нашей группы испытателей кто-нибудь всегда оставался ночевать на полигоне, и поэтому дверь в домик была уже открыта. Внутри раздавались голоса, стук кнопок шахматных часов, возгласы: «Вылазь! Вылазь! Шах тебе!»

— А, Григ! Здорово! Значит, и начальство приехало?

— Здорово, парни, — сказал я. — Сваливайте шахматы. Феоктистов идет!

Шахматы и часы тотчас же убрали, и у всех на лицах появилось сосредоточенное выражение.

Феоктистов — руководитель группы испытателей, в которую входило девять человек, — появился на заросшей травой дорожке и еще издали, замахав длинными неуклюжими руками, закричал:

— Опять спите! Почему Ерзанов не в капсуле?!

— В капсуле он! — также закричав, ответил Иннокентий Семенов, который был дежурным.

— В капсуле? В какой капсуле?! В шахматы опять шпарите!

— Да в капсуле он! — не выдержал Семенов.

— В капсуле. Черта с два! Через неделю запуск, а вы тут блиц гоняете!

— Да не гоняли мы... — начал было Семенов и осекся.

У других, да и у меня тоже, лица вытянулись:

— Ну да?!

— Группу Стрижакова хотели, — вдруг совершенно спокойно сказал Феоктистов. — Потом заспорили. А в конце выяснилось, что у них двое кашляют и чихают. У нас вроде никто... Нет? — И он вопросительно огляделся. — Не вздумайте простыть. Тогда запуск снова отложат.

— Ну а кого же?.. — чуть заикаясь от волнения, спросил Ерзанов, неизвестно откуда появившийся.

— Кого, кого! Веревкина! Вот кого!

Мы набросились на Веревкина, что-то кричали, похлопывали и трясли его за плечи. Левка сначала изумился, когда назвали его фамилию, потом обрадовался,

когда до него дошел смысл сказанного, затем сконфуженно смутился и бормотал что-то нечленораздельное.

— Если бы Филиппыч сейчас видел вас, — сказал Феоктистов, — он бы никого из вас не допустил к запуску, по крайней мере, еще на год. Какие эмоции! Вы что, не умеете держать себя в руках?!

— Но ведь радость-то какая! — сказал кто-то из нас.

— А если горе, несчастье? Вы, как никто другой, должны владеть своими чувствами. Авария! Семенов — в главную капсулу, остальные дублировать. Волновод времени сужается! Перемычка!

Семенов пантерой прыгнул в дверь домика, пролетел половину коридора и скрылся в люке. Мы тоже кинулись по коридору врассыпную по своим местам.

Феоктистов, наверное, задал программу имитатору отказов еще с главного пульта в административном домике, потому что, когда я захлопнул за собой люк, с начала сужения волновода времени прошло уже двадцать секунд. Через двадцать секунд волновод времени будет перекрыт. И тогда крышка. Крышка пока еще чисто символическая. Но теория предсказывала, что это может быть на самом деле.

Итак, оставалось двадцать секунд. Даже меньше. Нужно или увеличить мощность, поступающую в реверины, которые создают волновод, или увеличить скорость прохождения через волновод, или то и другое вместе. В кабине имелась небольшая логическая вычислительная машина. Решала проблемы она молниеносно. Но ввод программы... Нужно определить, как далеко во времени образуется перемычка, какова скорость ее нарастания. Если полагаться только на приборы, то времени не хватит. Здесь необходима работа не только

сознания, но и подсознания, всего тела. Нужно врать во время, раствориться во времени, почувствовать его.

Кроме быстроты соображения, нужна была еще и идеальная реакция. А импульсы, поступающие из мозга, движутся так медленно...

Прошло девятнадцать и семь десятых секунды. Я успел проскочить перемычку. Рука потянулась к вспотевшему лбу, но задержалась на полпути. Энергия поступала в реверины без контроля, огромными порциями. Система начала работать вразнос. Через семь секунд я выпаду со своей капсулой в каком-нибудь времени и замкну петлю обратной связи. Этого нельзя допускать ни в коем случае. Смерть предпочтительнее. Только моя, и все... Шесть секунд... Система все более выходит из-под контроля... Выключить источники энергии! Сразу же появилась перемычка сверху. Энергию в реверины. Снова все вразнос. Система совершала колебания между двумя предельными состояниями: падением в чужое время и перспективой остаться вне всякого времени, то есть нигде и никогда.

Нужно удлинить промежутки критического времени. Как говорят, спуститься потихоньку на тормозах. Через десять минут пляска прекратилась.

Через полчаса начались перегрузки. Обыкновенные перегрузки, когда нет сил поднять руку, закрыть рот, когда даже мысли в голове едва ворочаются, как будто придавленные тысячекилограммовым грузом. И снова перемычки, генерация без насыщения, вернее — с насыщением, которое есть конец.

К началу второго часа капсула времени в совершенно чистом идеальном волноводе споткнулась о непреодолимую преграду. Реверины по-прежнему пожирали энергию, но капсула не двигалась в прошлое. Это означало, что волновод моей капсулы пересек вол-

новод, вернее — наткнулся на волновод какой-то другой капсулы. Может быть, из двухтысячного года. Может быть, на мой собственный, но более поздний. В прошлое не пройти. В настоящее... Кто-то пересек и путь к отступлению. А если это надолго?

В институте на каждый запуск в прошлое будут оформлять нечто вроде обращения к потомкам: не заполняйте такие-то и такие-то силовые линии темпорального поля. Осторожно! Идут первые попытки человечества пробиться в прошлое.

Все это хорошо. Все это сверхнадежно. Нам, конечно, уступят дорогу. Ну а если ошибутся, забудут?

И вот я сейчас сижу в западне. Что мне до того, что это только имитация?

Я перестал расходовать энергию капсулы. Когда произошло столкновение, я немного растерялся. Нужно было мгновенно возвращаться в настоящее. Я опоздал. И теперь мне приходилось раскачиваться между двумя окнами в прошлое. Ни объехать, ни обойти. Я должен был не пропустить мгновения.

На секунду открылся путь в настоящее. Руки сами произвели необходимые действия.

Прошло два часа, три...

Внезапно заныли зубы. Все сразу. Потемнело в глазах. И конечно, в тот момент, когда нужно было проскочить очередную перемычку. Потом на меня напали кашель, смех, апатия. Кто-то щекотал мне подошвы ног. Все это сопровождалось перегрузками, отказом важнейших узлов электронной аппаратуры, перемычками, темнотой, воем, грохотом, леденящей тишиной.

В начале пятого часа началось самое страшное... Я на мгновение потерял сознание. Это испугало меня и сразу же лишило уверенности.

И все-таки какая-то часть сознания или подсознания

бодрствовала. Я увидел перед собой искаженное от смеха свое собственное лицо. Ощутил слабую дрожь. Дрожь кабины. И руки начали плясать по клавишам, тумблерам и ручкам. На несколько секунд я пришел в себя и отметил, что только что проскочил опасную перемычку...

Все кончилось внезапно, как и началось.

...Теперь будут трава, солнце, земля и небо.

3

Через несколько дней в моей квартире снова раздался звонок. Я сразу подумал, что это пришла девочка. Звонок пытался воспроизвести какую-то нехитрую мелодию. Это наверняка была она. Валентина сделала движение, намереваясь открыть дверь, но я попросил ее посидеть немного на кухне, ничем себя не выдавая. Валентина недоуменно пожала плечами.

Я открыл входную дверь. На пороге снова стоял Солнечный зайчик.

— Здравствуй, папка!

— Здравствуй, Оленька!

— А мама приехала?

— Мама?.. Как тебе сказать?

— Приехала! Мама приехала!

Девочка вбежала в большую комнату, затем в маленькую.

— А где же мама?

Я поднес палец к губам, как бы говоря: «Терпение, сейчас будет сюрприз. Только не надо торопиться».

— Вымой руки, Оля.

Девочка скрылась в ванной комнате, а я вошел на кухню.

— Ну вот, — сказал я Валентине. — Эта девочка

снова пришла. Она называет меня папой, она почти все обо мне знает. Она ведет себя так, словно прожила здесь всю жизнь.

Мне показалось, что по лицу Валентины пробежала какая-то тень сомнения или недоверия.

— Ну что ж. Я пойду. Я думала, что все это шутка.

— Куда ты, Валюша? Я второй раз вижу эту девочку. Это просто игра.

— Игра? Вот она сейчас войдет, увидит меня и подумает, что у ее папы в доме чужая женщина. И игра будет испорчена. Я лучше уйду.

— Ничего не будет испорчено.

В это время открылась дверь и в кухню влетела девочка.

— Мама! — закричала она, задохнувшись от радости. — Мама!

Я заметил, как Валентина, на мгновение оторопев и чуть подавшись назад, вдруг схватила девочку и прижала к себе.

— Мама! Мамочка! Наконец-то ты приехала!

— Оля, — сказал я, когда они нацеловались. — Не мешало бы полить цветы. А?

— Но я их поливала сегодня утром.

— Вот как. Ты их поливала сегодня утром? Что-то не похоже. — Я ковырнул пальцем землю в одном горшке. — Совсем сухая.

— Ну хорошо, — сказала девочка. — Я полью их. Но все равно я поливала их сегодня утром. — И она занялась своим делом.

— Ну что скажешь, Валюша? Вот ты и мама! Признайся, что немного не верила мне? Как тебе все это нравится?

— Странно... Но она действительно считает меня мамой, а тебя отцом. Ничего не понимаю.

— Она мне очень нравится. Я про себя называю ее Солнечным зайчиком. Правда, похожа?

— Очень похожа...

В этот вечер мы были одной семьей. Нужно было, по крайней мере, пообедать по-семейному. Но в моем холодильнике не было никаких припасов. Валентина поставила на плитку кастрюлю с водой, а я побежал в магазин и купил там мяса, масла, луку и еще всякой всячины. Весь мой предыдущий опыт исчерпывался покупкой колбасы, сыра и рыбных консервов, и поэтому мне пришлось туго. Я импровизировал на ходу.

Через полчаса я был дома. Валентина и Оля сидели на диване. На кухне кипела кастрюля, пуская клубы пара. Они про нее, конечно, забыли. По их счастливым лицам было видно, что им было хорошо вдвоем.

Валентина поцеловала девочку и сказала:

— Оля, ты поиграй немного. Мне надо заняться кое-чем на кухне.

Я в это время разгружал сумку. Валентина прикрыла дверь и обняла меня за плечи.

— Гриша, она знает обо мне все. Она не перепутала. И мне сейчас кажется, что она действительно моя дочь. Странно, правда? Она не играет.

— Успокойся, Валюшенька. Все выяснится. Когда она ушла в тот раз, я все время ждал ее возвращения. Весь вечер, всю ночь и на другой день. Потом решил, что она уже никогда не придет. И мне было грустно. Смешно, правда?

— Она опять сегодня уйдет?

— По-моему, уйдет.

— И не вернется?

— Этого я не знаю. Сегодня, во всяком случае, нет. Может быть, завтра или через неделю...

— Я не отпускаю ее.

— Мне кажется, этого нельзя делать. Ведь где-то у нее есть дом. И настоящий отец и мать.

— Может быть, она из детского дома? Может быть, ей просто хочется иметь папу и маму? Вот она их и придумала. Пусть ее сказка окажется правдой. Вдруг она действительно из детского дома? — Я видел, как Валентина загорелась этой идеей.

После обеда Валентина и Ольга так раздурачились, что я невольно сам принял участие в наведении беспорядков.

Потом они, видимо устав, снова взобрались на диван, но еще долго не могли успокоиться, начиная вдруг ни с того ни с сего хохотать. Смеялся и я.

Потом девочка, как и в прошлый раз, засобиралась к подруге поиграть, но Валентина начала отговаривать ее и предложила сходить в кино или просто погулять. В кинотеатре народу было не очень много, но детей на вечерние сеансы не пускали, и мы отправились в Лагерный сад, где можно было побродить среди сосен, поест мороженого и просто постоять на обрыве.

Потом мы ходили по дорожкам парка, причем Ольга и Валентина все время о чем-то говорили. Я немного отстал. Вдруг я увидел растерянное лицо Валентины.

— Она все-таки ушла!

— Как ушла?

— Она захотела мороженого. Я дала ей денег. Она бегом кинулась к киоску, а когда я подошла, ее уже здесь не было.

Мы спросили у продавщицы, не подходила ли только что к ней девочка с большим белым бантом на голове, но та ответила что-то нечленораздельное, и мы отстали.

— Я говорил, что она все равно уйдет, — сказал я.

— Нет. Она, наверное, просто потерялась. Надо объявить по радио. А если она тоже ищет нас?

Мы побежали к радиобудке, но в душе я мало верил в успех нашего предприятия. У девочки где-то есть свой дом. Там ее ждут. Может, это детский дом. А может, и настоящая семья. Все равно у нее есть дом. А к нам она приходит только поиграть.

Мы ждали девочку около большого фонтана, обычного места встреч. Диктор несколько раз объявил, что потерялась девочка, и просил ее или тех, кто видел девочку, подойти к фонтану. Но к нам никто не подошел.

— Она, наверное, дома, — сказала Валентина. — Она потерялась и ушла домой. Здесь ведь совсем недалеко. Она ждет нас. Пошли.

В окнах моей квартиры света не было. И в самой квартире никого не было. Я надеялся, что найду там хотя бы ее портфель, и, если девочка не вернется за ним, то открою его и посмотрю, что в нем есть. Но портфеля в квартире тоже не было. Я точно помнил, что она пришла с портфелем, а когда мы вышли вдвоем, портфель остался в квартире. Теперь его не было. Значит, девочка заходила сюда и взяла свой портфель. Иного объяснения я не мог придумать. Ведь не мог же портфель исчезнуть сам по себе. Не мог он испариться. Но, с другой стороны, у девочки не было ключа...

Валентина вышла на балкон. Наступал вечер. Стало прохладно. Я закурил.

— Ты все еще ждешь? — спросил я.

— Я буду ждать ее, — ответила Валентина. — Она придет.

— Сегодня она не придет.

— Все равно я буду ждать.

Валентина осталась у меня. Мы решили перевезти ее вещи на другой день.

Утром мы ехали на полигон вместе. Валентина работала в лаборатории измерений, расположенной почти в противоположном от нашего домика конце полигона.

— Объявим, что мы муж и жена вечером, — крикнул я ей.

— Когда Левка вернется!

— Хорошо!

Около нашей лаборатории толпился народ. Кто-то из администраторов безуспешно пытался разгонять эту толпу. Но все было напрасно. Группа Стрижакова в полном составе расположилась под окнами комнаты, где сейчас медики в какой раз тщательно проверяли состояние психики Льва Аркадьевича Веревкина.

Около капсулы, на площадке для запусков, возились техники и инженеры. Там тоже шли последние приготовления. Кто-то в последние часы перед стартом нашел несколько мелких неисправностей, и сейчас впаивали новые интегральные схемы, меняли тумблеры. Феоктистов бегал вокруг и был страшно недоволен.

Веревкина предполагалось запустить в прошлое, которое будет отстоять от момента запуска капсулы на два-три часа. Он должен был увидеть время, непосредственно предшествующее самому запуску.

К одиннадцати часам дня напряжение на полигоне достигло своего предела. В разных его концах ревели моторы фургонов, перевозивших аппаратуру поближе к пятачку, инженеры и техники бегали как угорелые, группа администраторов во главе с директором института твердой походкой прошла в наш домик, появились люди с кинокамерами и фотоаппаратами.

Время запуска приближалось.

В половине двенадцатого полигон замер. Люди, которые непосредственно не участвовали в запуске, отошли на приличное расстояние от пятачка. И сразу же выяснилось, что все идет по порядку, что все знают, что им нужно делать, что нет никакой сутолоки и спешки.

И вот мы по очереди обнимаем Левку, говорим какие-то слова, что-то советуем. Левка твердым шагом идет к пятачку и, неуклюже согнувшись, лезет в люк капсулы.

Закрыли люк. Теперь Веревкина связывал с настоящим только шнур телефонной связи. Феоктистов сказал еще несколько слов в трубку, и техники отсоединили и этот канал связи. Сматывая кабели и провода, обслуживающий персонал бежал от капсулы к краям пятачка. Феоктистов смотрел на стрелку своих часов, сверенных с часами Веревкина. Истекали последние секунды. Феоктистов махнул рукой. Махнул просто так, потому что Левка должен был сам произвести запуск.

Капсула исчезла.

Кто-то закричал «ура!».

И вот уже все на полигоне кричат. Только Феоктистов трет переносицу и молчит.

В толпе, метрах в ста от того места, где я стоял, я заметил Валентину. Она махала мне рукой. Я побежал. Вокруг ликовали, кто как умел. Одни кружились в танце под аккомпанемент собственных губ. Другие прыгали и задирались с теми, кто стоял рядом, третьи просто что-то кричали. А что — невозможно было понять. Четвертые улыбались и похлопывали друг друга по плечам. Директор института пробирался к Феоктистову.

— Здорово, Валя! — крикнул я. — Теперь нас не удержишь!

— Я тоже рада, — ответила она. — Страшно только. Лучше бы эти несколько часов до его возвращения исчезли. Или уснуть бы.

— Не уснешь, во-первых, — сказал я. — А во-вторых, на полигоне нельзя спать в рабочее время.

— Я хочу, чтобы он вернулся.

— Я тоже. Все этого хотят.

— Я хочу больше всех. Если он вернется, тогда и ты будешь всегда возвращаться.

— Не смей трусить.

— Что он там сейчас делает?

— Вернется — расскажет.

Капсула должна была вернуться через два часа, и поэтому никто не отходил от пятачка, хотя уже наступило обеденное время. Радостное оживление, вызванное благополучным запуском капсулы, прошло, и теперь наступило ожидание, когда кажется, что время течет очень медленно, когда не знаешь, куда себя девать и чем заняться. Теперь мы уже ничем не могли помочь Веревкину, если бы с ним что-нибудь случилось.

С утра погода была солнечная и теплая. А сейчас потянуло ветерком и на небе собрались тучи. Несколько раз принимался чуть заметный дождь, но все никак не мог собраться с силами, чтобы хлынуть по-настоящему. Некоторые на всякий случай сбегали за плащами или просто притащили большие листы брезента, чтобы не промокнуть. Но дождь только шутил.

Прошло уже около двух часов, и людьми овладела тревога. Только бы он вернулся!

Первым почувствовал неладное Феоктистов. Взглянув очередной раз на часы, он вдруг побежал к директору института и что-то сказал ему. Директор покачал головой. Феоктистов сказал еще что-то, и директор махнул рукой начальнику отдела надежности. Тот подошел

к ним, и лицо у него было не очень радостное. О чем они говорили, я не знаю.

Прошло уже два с половиной часа, а капсула Вережкина не возвращалась.

Два часа мы с Валентиной простояли под чахлой сосной, а теперь подошли к пятачку. Снова инженеры и техники метались по полигону. Прямо наружу тащили какие-то чертежи и схемы. Начальник отдела надежности стоял бледный-бледный. Феоктистов рассматривал детали, которые вынули из капсулы перед самым стартом.

— Ничего не надо было менять перед стартом. Это плохо действует на человека, — донеслось до меня.

— Гриша, — сказала Валентина. — Он должен вернуться. Понимаешь, он должен вернуться.

Я это понимал. Ох, как хорошо понимал.

Прошло три часа, потом четыре, затем пять. Капсула не возвращалась.

— Валя, не плачь. Еще ничего не известно, — сказал я.

Хотя чего уж теперь тут неизвестного. Лицо ее заострилось, глаза потухли, она не отвечала на мои вопросы.

Когда солнце достигло горизонта, всем стало ясно, что Левка не вернется. Уже несколько часов назад была создана комиссия по выявлению причин катастрофы. Она заседала в административном корпусе. Постепенно люди стали расходиться, но человек сто, в том числе вся наша группа, группа Стрижакова и Валентина, оставались здесь всю ночь.

Ничем наше присутствие не могло помочь Левке, но как заставить себя уйти? Казалось, что если уйдешь, то совершишь маленькое предательство. И мы не уходили. Все молчали. Было тягостно и страшно.

Утром приехали представители из других институтов, из министерства и еще каких-то учреждений и организаций. Нам всем по очереди задавали самые сложные программы, и мы выполняли их в наших тренировочных капсулах, ни разу не сбившись, ни разу не дрогнув, хотя позади была бессонная ночь и Левина гибель. Феоктистов ходил молчаливый, односложно отвечая на вопросы комиссии. Наша подготовка была признана хорошей. Затем принялись за капсулу, вернее — за ее дублера. Аппаратуру гоняли на разных режимах целый день, и она все выдержала на «отлично».

Комиссии не нашли ничего, что пролило бы свет на трагедию, разыгравшуюся на полигоне.

Можно было только предположить, что сам Левка что-то там, в капсуле, сделал не так. Но мы в это не верили.

5

Прошло несколько дней. Наступил июнь. Стояла жара. Я перевез немногочисленные вещи Валентины в теперь уже нашу квартиру. Феоктистов настоял, чтобы тренировки продолжались, и мы занимались в тренировочных капсулах по несколько часов в день. Настроение у всех было подавленное. Один испытатель ушел из группы. Нас осталось семеро.

До конца лета был произведен запуск в прошлое полтора десятков автоматических капсул. Вернулись назад все, кроме одной, у которой перед самым стартом было заменено несколько интегральных схем. Инженеры ухватились за эту зацепку, но объяснить причин катастрофы капсулы по-прежнему не могли.

Таинственная девочка Оля, Солнечный зайчик, за

лето появлялась у нас несколько раз. Валентина сходилa с ума от этих посещений. Каждый раз не хотела отпускать девочку домой, придумывая разные хитрости, чтобы задержать ее, но все было напрасно. Девочка все равно исчезала. Она стала настоящим членом нашей семьи. Мы купили ей маленький диван и поставили его в маленькую комнату, но она ни разу им не воспользовалась. Она никогда не оставалась у нас на ночь.

Однажды она не приходила к нам недели три, и мы с Валентиной обошли все детские дома в Усть-Манске — Ольги не было ни в одном из них. Мы побывали и в школе, в которой, по ее словам, она училась. Но и в этой школе Ольга не числилась.

А между тем девочка знала всех. Почти всех. Во всяком случае, очень многих.

В июле было решено сделать попытку проникнуть в прошлое хоть на десять секунд. Исполнителем этого эксперимента был назначен Иннокентий Семенов.

Эксперимент готовили тщательно. Люди не собирались, как в прошлый раз, толпой под окнами нашей лаборатории. Не было шума, но не было и веселого оживления, предшествовавшего первому запуску.

Вокруг пятачка были установлены щиты с большими электрическими табло, на которых отсчитывались секунды. Они отсчитывались в таком порядке, чтобы испытатель в своей капсуле смог засечь время выхода в прошлое. Ведь десять секунд для человека очень малый промежуток времени. Правда, в тренировочных капсулах за десять секунд мы успевали дважды проскакать перемичку в волноводе времени. Но то было на тренировках...

25 июля к одиннадцати часам все было готово к про-

ведению эксперимента. Все отошли от пятачка, и электронное табло начало отсчет времени.

И вот капсула Семенова исчезла. Все затаили дыхание. Над полигоном стояла тишина. Только кузнечики преспокойно стрекотали в траве. Их это не касалось.

И вот капсула Семенова снова появилась на пятачке. Мы бросились к ней. Семенов мог сам открыть люк изнутри, но он почему-то этого не делал.

Добежать до капсулы было делом нескольких секунд. Несколько человек принялись отвинчивать люк. Спустились в капсулу. Вынули Семенова. К нему кинулся врач. Несколько секунд он колдовал над испытуемым, потом закрыл свой чемоданчик. Семенова положили на носилки и понесли. Врач поднял вверх обе руки и сжал их, как будто здоровался.

У нас отлегло от сердца. Вид у встречающей группы был встревоженный, но все же было ясно, что Семенов жив.

Он был в неглубоком обмороке.

Когда Семенов пришел в себя, мы уже не старались сдерживать своей радости. Он встал, удивленно оглядываясь. К нему со всех сторон лезли позвать руку. Хроникер трещал своей кинокамерой, подняв ее на вытянутых руках.

Вокруг орали так, что с трудом можно было слышать отдельные выкрики. Потом испытуемого начали качать, и в это время к нему пробились директор института, Феоктистов и другие администраторы. Семенова посадили в легковую автомашину и увезли в главный корпус.

— Ничего не дадут узнать, — сказал кто-то недовольно.

Меня потянули за рукав. Это была Валентина. Она

смеялась и чуть ли не плакала от радости. Мы отошли с ней в сторонку и сели под березу, прямо на траву.

— Ты рад? — спросила она меня.

— Спрашиваешь. Конечно! Все-таки мы пробились в прошлое. Пусть на мгновение, но все же пробились. Теперь в эту брешь мы и прорвемся. А ты заметила, что никто не дышал, пока капсула не появилась на пяточке? Верили и не верили. Ты верила?

— Я знала, что она вернется.

— Как ты могла знать?

— Я не рассказывала тебе, потому что это что-то такое... ну что всегда связано с Ольгой... Все непонятно. Я как-то случайно спросила ее, кто на нашем полигоне вернется из прошлого первым. И она ответила, что дядя Семенов.

Я удивленно уставился на Валентину.

— Не смотри на меня так, Гриша. Я подумала, что она как-то может влиять на происходящее. Что подумает, то и получается на самом деле.

— Совпадение, — сказал я. — Нет, Валентина, девочка тут ни при чем.

— Ты так думаешь? Ты уверен?

Конечно, я был уверен. Не могла она влиять на происходящие события.

— Я, Гриша, все время хочу спросить у нее о тебе. Но у меня язык не поворачивается. Я боюсь.

— Валя, ты становишься суеверной. Можешь спрашивать хоть у кого. Со мной ничего не случится. Я знаю это точно.

— А то, что она тоже может знать точно, в это ты не веришь?

— Ну я просто уверен... слишком жалко расставаться со всеми. С тобой, с Ольгой, с друзьями.

— Всем жалко,

В это время по радио объявили, чтобы все испытатели собрались в административном корпусе в зале заседаний. Мы побежали. Мы не могли идти спокойно.

В зале было полно народу, но нам отвели пустой первый ряд.

На сцене сидели ученые, ведущие инженеры-разработчики и Семенов. Феоктистов поднялся на трибуну и сказал:

— Капсула действительно была в прошлом. Аппаратура это зафиксировала. Но сам испытатель этого подтвердить не может. Он этого не помнит.

Потом было сделано несколько сообщений о том, как вели себя отдельные узлы аппаратуры во время эксперимента. Медики доложили о состоянии здоровья Семенова. Потом выступил сам испытатель. Его речь была очень краткой. Последнее, что он помнил, было мгновение, когда он поднял руку, чтобы нажать кнопку пуска, и посмотрел в иллюминатор. Затем его глаза застлала какая-то дымчатая пелена, и он потерял сознание. Это было не совсем похоже на потерю сознания. Но более точно он объяснить не мог. Когда он вернулся в настоящее, то у него был уже обыкновенный обморок.

Обморок? Пускай. Но почему он не помнил, как нажимал кнопку пуска? Разве мог он в бессознательном состоянии произвести запуск?

Об этом спорили несколько часов и пришли к выводу, что Семенов просто забыл в результате обморока время, непосредственно предшествовавшее самому запуску.

И все же дверца в прошлое была приоткрыта. Камера зафиксировала те десять секунд, что капсула находилась в прошлом.

После этого в течение двух недель последовала се-

рия запусков на десять-двадцать секунд и даже на минуту. Все обошлось благополучно, не считая того, что снова никто не помнил, как он производил запуск и что было в капсуле до тех пор, пока он не появился в настоящем.

Девочка по-прежнему появлялась иногда у нас. Валентина так и не осмелилась спросить у нее, что будет со мной, когда меня запустят в прошлое. Я был доволен этим, потому что Валентина в последнее время и без того стала нервной и раздражительной.

Откуда приходила к нам эта девочка? Я много размышлял об этом. Могло быть два варианта. Первый. Это обычная девочка, которая живет где-то неподалеку. Она очень легко могла перепутать стандартные дома и стандартные квартиры со стандартной мебелью. А я и Валентина очень похожи на ее родителей... Второй. Может быть, это действительно моя дочь, каким-то образом переносющаяся из будущего в настоящее. Но без аппаратуры, без капсулы? Это было невозможно.

Однажды в середине августа я встретил ее на улице. Это был первый случай, когда я встретил ее не в своей квартире. С ней шел какой-то мужчина. Она прошла почти рядом со мной, не заметив меня, а мужчина на мгновение оглянулся и смерил меня взглядом. Я успел расслышать, как девочка назвала его папой. Это объясняло все. Значит, девочка действительно жила где-то рядом. Все дело в том, что не только дома, но и родители все более стандартизируются и становятся похожими друг на друга. Все стало на свои места, и это принесло пустоту и грусть. Мы с Валентиной очень привязались к Ольге и все еще надеялись найти ее в каком-нибудь детском доме и взять к себе.

Я рассказал Валентине о случившемся, но она мне не поверила. Она не могла этому поверить.

И вот настал день, когда в капсулу должен был сесть я. Это было в конце августа.

Меня должны были запустить на полчаса. Примерно за час до этого начались сборы. Я облачился в комбинезон и выслушивал последние наставления и советы.

По роду службы Валентина в это время должна была находиться на другом конце полигона. Мы пожали друг другу руки немного раньше. И вдруг неожиданно раздался возглас:

— Папа! Папа!

Я оглянулся. В дверях лаборатории стояла Оля. Солнце светило ей в затылок, и разлетевшиеся по лицу и над головой волосы казались светлыми, золотыми. Она снова была в белом прозрачном платье и с двумя большими белыми бантами на голове. Лицо ее стремительно меняло выражения. То радостное, потому что она увидела меня, то чуть испуганное, потому что незнакомые дяди и тети могли ее отсюда выгнать, то детски наивное, словно все это игра. Она бросилась ко мне. Она снова была маленьким солнечным зайчиком. Никто не прикрикнул на нее, не остановил. Правда, некоторые хмыкнули в ладошку: откуда у этого молодого испытателя могла взяться такая большая дочь? Но заметив, что я нисколько не удивлен этой встречей, веселые люди слегка посерьезнели и по одному вышли из комнаты.

— Ты хотел мне показать капсулу, папа! — сказала она. — И разрешить посмотреть на кнопки. Можно?

Мы зашли в одну из капсул-тренажеров. Я начал объяснять ей назначение ручек управления, не очень заботясь о связности объяснения, так как она все равно ничего бы не поняла. Ее особенно интересовала кноп-

ка возвращения. Она несколько раз заставляла меня нажимать ее, приговаривая:

— Домой! Домой! Ты возвращаешься! Ты возвращаешься!

Потом я объяснил ей, что эту кнопку можно и не нажимать, потому что у капсулы есть электронный мозг, которому перед стартом зададут программу, и он сам возвратит капсулу на пятачок.

— А если этот мозг уснет, папа? Что тогда?

— Он не может уснуть. Он не умеет спать.

— Ну а если он разобьется или сломается?

— Он очень прочный, Оля. С ним ничего не сделается.

— Ну а все-таки?

— Тогда я нажму вот эту кнопку и верну капсулу сам.

— Пап, нажми кнопку. Еще. Еще.

При нажатии этой кнопки гудел зуммер и мигали лампочки пульта управления. Это, наверное, и заставляло ее просить меня нажимать кнопку. Я нажал на нее, наверное, раз двадцать.

— Папа, не забудь нажать эту кнопку, когда будешь там, — сказала Оля, и в это время меня осторожно позвали.

Мы вышли из лаборатории. Девочка держалась за мою руку, не выпуская ее.

Кто-то сказал:

— А как же Валентина?

На него шикнули. Он, наверное, имел в виду, что скажет Валентина, когда увидит меня с дочерью. Все знали, что Валентина моя жена. Но мало кто знал, что у нас обоих есть таинственная дочь Оля — Солнечный зайчик.

Мы подошли к пятачку. Валентина увидела нас из-

далека и подбежала. Ольга кинулась к ней. В глазах у Валентины можно было прочесть: как ты сюда попала?

В электронный мозг капсулы закладывали программу возвращения. Я помахал друзьям рукой. Валентина вцепилась в девочку и напряженно смотрела на меня и словно не видела.

— Все будет хорошо! — крикнул я и пошел к капсуле.

Того, что произошло дальше, я не помню. Но все было точно так, как я об этом рассказываю. Иного объяснения тому, что со мной произошло, я не могу найти. Позже все подтвердилось.

Когда я нажимал кнопку пуска, я был в полном сознании, но сразу же после этого начался обморок. Он длился несколько минут. Потом я пришел в себя и каким-то образом понял, что нахожусь в капсуле. Именно каким-то странным образом, потому что мое сознание в это время говорило мне, что я стою возле капсулы. Около пятачка тоже стоят люди и что-то кричат. Потом я начал медленно пятиться от капсулы, очутился на краю асфальтового пятачка, как-то нелепо спрыгнул с него.

И в то же время я находился в капсуле. Я каким-то образом каждое мгновение чувствовал свою кабину, ручки и кнопки управления. Вдруг едва заметно задрожала кабина и, хотя я в это время, пятясь, отходил от пятачка, руки произвели необходимые действия, потому что в волноводе начала образовываться перемычка.

В это мгновение я уже не помнил, что со мной было с того момента, когда я прощался с Валентиной, и до того, как я проскочил перемычку.

Передо мной вставали все более и более ранние картины, предшествовавшие старту. Это были даже не

картины. Я все чувствовал, ощущал, я все слышал, различал запахи леса, трав и цветов. Это было мое настоящее, только чуть-чуть размытое в мелких деталях, на которые я, очевидно, тогда не обращал внимания. А то, что было в кабине капсулы, действительно напоминало какую-то картину, нереальную, выдуманную, не имеющую права на существование, потому что в это время я был еще только возле домика, следовательно, никак не мог находиться в капсуле.

Словно две киноплёнки разворачивались передо мной.

Иногда это уже казалось мне сумасшествием. Я переставал понимать, что происходит со мной и где я нахожусь. Я не знал, что мне следует делать в следующее мгновение.

У меня, правда, возникала мысль, что все наоборот. Но что наоборот? Зачем наоборот? Что такое наоборот?

Любой посторонний наблюдатель, если бы это только было возможно, сразу понял бы, что у меня в капсуле время течет вспять. И вся информация, которая имелаась в моем мозге и в запоминающем устройстве вычислительной машины капсулы, постепенно прокручивалась в обратную сторону и тут же стиралась, уничтожалась.

Я уже не мог знать, почему и как я очутился в капсуле. Все предыдущие воспоминания об этом исчезли.

Я еще не осознал, в каком ужасном положении я нахожусь. Я не мог возвратиться в настоящее сам, потому что не знал, что нахожусь уже в прошлом. И автоматика не могла вернуть меня. Программу для возвращения в память вычислительной машины заложили за несколько минут перед стартом, и она уже была стерта текущим в обратную сторону временем.

Со мной случилось то же, что и с Левкой. Поэтому

Левка и не вернулся. Он так и не нажал кнопку возвращения.

Я был обречен, пока в кабине оставался воздух, все дальше и дальше уходить в прошлое, не догадываясь нажать кнопку возвращения.

Я сидел в тренировочной капсуле. Рядом стояла Оля. Наши движения были смешны и нелепы, а речь вообще воспринималась как бессмысленный набор звуков.

— Укпонк имжан, пап, — говорила девочка.

Я понимал ее там, в лаборатории, на полигоне, а здесь, в капсуле, мне было смешно. Что такое «укпонк»?

— Укпонк имжан, пап, — снова сказала девочка.

Я рассмеялся. Но она повторяла это снова и снова, и я там, в лаборатории, старательно отдергивал палец от кнопки.

Ольга повторила смешную фразу раз десять, и это вдруг заставило меня насторожиться. Я делал все в обратном порядке, но подсознательно ухватился за эту фразу. Что такое «укпонк»? Почему Оля столько раз это повторяет?

А она все повторяла и повторяла.

И вдруг я почему-то прочел фразу наоборот. Это было какое-то секундное возвращение к действительности.

— Пап, нажми кнопку!

Я еще, конечно, не осознал, где нахожусь, но раз Ольга просила, значит надо нажать.

И я нажал кнопку возвращения в настоящее. И сразу же лента в сознании, которая прокручивалась в обратном направлении, остановилась. Это позволило мне окончательно прийти в себя. И я увидел себя в кабине капсулы. Ничто не напоминало мне, что я действительно возвращаюсь из прошлого, что я нахожусь не в тренировочной капсуле.

Но я не трогал ни одной ручки. Я сидел неподвижно, передо мной было лицо девочки с большими белыми бантами.

— Ты возвращаешься! Ты возвращаешься!

Вспыхнула световая сигнализация, и раздвинулись створки иллюминаторов. Лицо девочки исчезло.

«Ну что ж, — сказал я себе. — Я нахожусь в тренировочной капсуле. Ольге надоело выслушивать мои объяснения, и она убежала. Через полчаса запуск».

Я толкнул люк и почувствовал, что он завинчен. Что случилось? Вдруг крышка люка отлетела в сторону, и ко мне заглянул человек.

— Жив! — заорал он. — Жив и даже улыбается!

— Что случилось, ребята? — спросил я, вылезая из люка. — Кто перетащил сюда эту капсулу? Ведь скоро запуск.

Мне не дали договорить, схватили на руки и потащили к краю пятачка. Рядом бежала женщина в белом халате и кричала:

— Отпустите его! На носилки! Его же исследовать надо!

— Успеете. Теперь успеете, — сказал кто-то.

Я видел, что лица людей радостны, но не понимал причины такого бурного веселья. Кроме того, мне было немного неудобно, что я что-то забыл, а через несколько минут запуск. Еще отменят из-за этого.

Когда меня наконец опустили, я увидел плачущую Валентину.

— Валя, — сказал я, — мы же договорились, что ты не будешь плакать, провожая меня...

— Я и не плакала...

— Но ведь ты плачешь. Я вернусь. Не бойся за меня.

— Ты вернулся, — сказала она, плача и смеясь. — Ты вернулся!

«Ты возвращаешься! Возвращаешься!» — вдруг вспомнил я. И лицо Ольги. Значит...

— Где Ольга? — крикнул я.

— Я опять упустила ее, — сказала Валентина. — Но теперь, мне кажется, она вернется к нам навсегда.

Я просто вынужден был поверить, что побывал в прошлом. Кинокамера, у которой не было программного управления и которая включалась на мгновение при нажатии кнопки возвращения, зафиксировала, что я действительно на полчаса проник в прошлое.

Весь институт потом долго ломал голову над тем, что же со мной произошло. Постепенно картина вырисовывалась.

Время в капсуле раздваивалось. Одна составляющая его текла вспять и воспринималась ярко и отчетливо. Другая составляющая текла в нашем обычном понимании, но практически не воспринималась.

Теперь я мог рассказать всем, что со мной произошло в капсуле, почему я вернулся, почему погиб Левка, почему теряли сознание предыдущие испытатели, почему не возвращались некоторые автоматические капсулы. Задавать программу автоматическим капсулам необходимо было хотя бы за несколько часов перед стартом, если их отправляли на продолжительный срок.

Мы выиграли сражение, хотя и с потерями.

А что же мы имели в результате?

В прошлое проникнуть можно. Но капсула движется медленно, со скоростью обычного времени.

Прощай мечта проникнуть в прошлые столетия! Нельзя увидеть даже собственное детство, потому что сам испытатель за это время в капсуле превратится в ребенка.

Какова же практическая польза наших исследований? Конечно, можно проникнуть в прошлое на сутки

или даже на неделю. Но для этого испытателя надо столько же времени специально готовить. Или вписывать в его мозг события последних суток в обратном порядке с помощью какой-либо аппаратуры, или заранее стирать всю информацию за сутки, предшествующие запуску.

Да. Результаты были очень скромные. Не могло быть и речи об исследовании истории. В лучшем случае мы могли вторично просмотреть недавние события, расследовать какое-либо преступление.

Теперь для испытателей появился еще один вид тренировок. Тренировки в темпокамере, камере времени. А точнее — антивремени.

Это были самые тяжелые тренировки. Ведь эксперимент проводился над нашим мозгом, после чего мы не помнили многих событий своей жизни. И, несмотря на то, что все это было нужно, именно этот вид тренировок отталкивал людей от нашей профессии. Она потеряла ореол романтики.

Через несколько лет мы уже не тренировались, мы уже работали, проникая в прошлое с исследовательскими целями.

Я рассказал Вале, как меня спасла наша таинственная девочка. Наш Солнечный зайчик. Это она заставила меня нажать кнопку возвращения.

После того дня мы ждали ее каждый вечер, но она не приходила. Теперь мы знали точно, что она появляется не из будущего. Это было принципиально невозможно. А мы даже не догадались сфотографировать ее.

Ольга не появлялась у нас больше. Она словно возникла для того, чтобы однажды спасти меня и исчезнуть навсегда.

Особенно тяжело переживала ее исчезновение Валентина.

Но время шло, и боль постепенно стиралась.

Когда у нас родилась дочь, мы без колебаний называли ее Ольгой. Валентина оставила в квартире все так, как было, когда у нас появлялся Солнечный зайчик. Она ни за что не позволяла делать мне в квартире какие-нибудь перестановки.

— Она еще вернется, — говорила Валентина. — Пусть для нее все будет привычным.

Прошло несколько лет. Наша дочь пошла в школу. Валентина заплетала ей в косы такие же большие банты, какие были у Солнечного зайчика, шила ей такие же платья. Она до мельчайших подробностей помнила девочку. Однажды она даже сказала мне, что наша дочь и лицом и фигурой походит на ту девочку. Прошло уже девять лет, и я не мог точно воспроизвести в памяти портрет девочки. Ведь и видели-то мы ее всего несколько раз.

7

Это произошло однажды вечером в конце мая. Валентина в это время была в командировке. В квартиру кто-то настойчиво позвонил. Так могла звонить только наша Ольга. Я открыл дверь, на пороге стояла, конечно, она.

— Почему ты так долго задержалась в школе? — строго спросил я.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Но ведь я уже была дома.

— Когда это? Что-то я не заметил.

— Сразу после школы. Я полила цветы, а ты сходил в кондитерский магазин. Мы пили чай. Ты еще был такой смешной. Потом я пошла готовить уроки и поиграть к Марине.

Теперь я посмотрел на нее удивленно. Цветы не были политы. Ни в какой магазин я сегодня не ходил.

— Ну и сочиняешь ты, Оля. Надо все-таки приходить домой пораньше или предупреждать, чтобы я не беспокоился. Садись кушать.

Мы сели за стол. Я взял газету. Она поглядела на меня сердито. А когда дело дошло до чая, она не вытерпела и спросила:

— Папа, почему ты не достанешь коробки с пирожными и конфетами? Ведь я же ничем не провинилась.

— Оля, о каких коробках ты говоришь? Я не покупал ничего сегодня.

— Покупал! Ты был такой смешной. Курил. И придумал смешную игру, как будто ты меня не знаешь и впервые видишь. Спрашивал, как меня зовут.

Я обжегся горячим чаем.

— Постой, постой! Что ты говоришь? Какую игру?

— Ну как будто бы мы не знаем друг друга. И еще сказал, что тебя зовут Онуфрием...

— ...Балалаевичем! — заорал я во все горло.

— Балалаевичем, — засмеялась она и стала вдруг так похожа на быстрого, неуловимого солнечного зайчика, так похожа на ту Ольгу, на ту девочку. — Вспомнил?

— Вспомнил, Оля! Все вспомнил! Так это, значит, ты и была?

Она захлопала ресницами. Выражения радости, испуга, удивления, восторга и недоумения возникали и исчезали у нее на лице.

— Ну а кто же это еще мог быть, папочка? Ты сегодня какой-то совсем смешной. То игру придумал, а теперь все забыл.

— Я все помню, только не могу поверить, что это была ты. Ты и цветы уже поливала? И играла на рояле? И я не знал, как танцевать лагетту? Правильно?

— Ты придумал новую игру, папочка?

— Придумал, Оля! Ты подожди немного, я сбегаю в магазин. Бегом!

Потом мы пили чай с эклерами «Снежный». Она так их любила. Я вспоминал то, что случилось со мной однажды, девять лет назад.

— А когда мы танцевали с тобой чарльстон, ты сказала: «Тебя, папочка, не перетанцуешь».

— Да. Смешно. — Она засмеялась, словно серебряные колокольчики рассыпались по полу.

— А Матильда спрятала пластинки с лагеттой.

— Ага! А она положила их на место?

— Положила. Станцуем?

И мы начали танцевать лагетту, новый модный танец.

Когда она ложилась спать, я осторожно спросил:

— Оля, когда ты шла из школы, а потом к Марине, с тобой ничего такого не было?.. Ну голова, например, закружилась? Или еще что-нибудь?

— Нет, папа. Я встретила Кольку из шестой квартиры.

Ну Колька-то уж, конечно, не имел к этому никакого отношения.

— Спи спокойно, Оля.

Да, это была она. Солнечный зайчик. Но как она могла очутиться в прошлом? Девять лет. Я работаю столько лет над проблемой путешествий в прошлое, но я ничего не могу понять. А она так просто путешествует в прошлое и настоящее... Значит, возможно что-то прин-

ципиально новое, другое. Значит, нам нужно искать другой путь...

Когда Валентина возвратилась из командировки, я ей все рассказал. Она мне сначала не поверила. Как такое может быть? И это говорит старый испытатель!

А я уже знал, что в скором времени я тоже появлюсь в том времени вместе с Ольгой. Человек, которого я однажды встретил с Ольгой, ведь это был я! Это я тогда, не в силах сдержаться, оглянулся и бросил быстрый взгляд на себя, тогда еще двадцатитрех-летнего.

— Помнишь тот день, когда ты ее увидела в первый раз? Она была так обрадована, что ты приехала из командировки. И сразу же назвала тебя мамой. Потом мы не попали в кино и гуляли по Лагерному саду. А потом она внезапно исчезла. Так вот. Вон на диване лежит ее портфель, но сама она еще дома не была. Я не знаю, как он попал в комнату. В котором часу она тогда исчезла?

— В девять, — одними губами прошептала побледневшая Валентина.

— В девять часов она позвонит в дверь и спросит, почему мы ее бросили в саду одну. И несколько не удивится, что ты приехала, потому что для нее ты приехала тогда, на несколько часов раньше.

Все в этот вечер валилось из рук Валентины. Она и верила и не верила. Было уже довольно поздно, и Валентина на всякий случай позвонила всем знакомым, у которых могла быть Ольга. Но ее ни у кого не было.

В девять часов раздался звонок. Валентина не нашла в себе сил подняться с кресла. Я открыл дверь.

— Почему вы меня бросили одну в Лагерном саду? А? Признавайтесь! Испытываете на храбрость?

— Олька, — сказала Валентина и заплакала. — Солнечный зайчик!

— Почему ты плачешь, мама?

— Я ждала, я все время верила, что ты вернешься.

— Ну, мама, не такая уж я трусиха. Здесь всего-то четыре квартала.

Здесь «всего-то» было девять лет.

СОДЕРЖАНИЕ

Одухотворенные люди (предисловие) <i>А. Нодия</i> . .	3
Поющий лес	7
Газетный киоск	34
Вдохновение	58
Зачем жил человек?	73
Весна света	109
Настройщик роялей	120
Жемчужина	134
На асфальте города...	146
Сентябрь	158
Случится же с человеком такое!..	169
Девочка	229

Колупаев Виктор Дмитриевич

СЛУЧИТСЯ ЖЕ С ЧЕЛОВЕКОМ ТАКОЕ!.. М., «Молодая гвардия», 1972.

272 с., с илл. (Б-ка советской фантастики)

P2

Редактор Б. Клюева

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор А. Захарова

Корректоры Т. Пескова, К. Пипикова

Сдано в набор 5/I 1972 г. Подписано к печати 21/IV 1972 г. А08009. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 8,5 (усл. 11,9). Уч.-изд. л. 11,4. Тираж 100 000 экз. Заказ 2774. Цена 35 коп. Т. П. 1972 г. № 201.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Суцевская, 21.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Просим ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении этой книги присылать по адресу: 103030 Москва, Суцневская ул., 21, редакция пропаганды молодежных изданий.

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



35 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ